

Бородин С.



# ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Сергей Бородин  
**Дмитрий Донской**

«Алгоритм»

1941

УДК 82/89  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Бородин С. А.**

Дмитрий Донской / С. А. Бородин — «Алгоритм»,  
1941 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03098-7

Сергей Петрович Бородин (1902–1974) – русский советский писатель; народный писатель Узбекской ССР. До 1941 печатался под псевдонимом Амир Саргиджан. Среди произведений романы «Последняя Бухара» (1932), «Египтянин» (1932), «Дмитрий Донской» (1941), историческая трилогия «Звезды над Самаркандом», переводы с таджикского, узбекского, хинди и других языков. В данном томе публикуется роман «Дмитрий Донской», повествующий о борьбе русских княжеств под предводительством Московского князя Дмитрия Ивановича против ига татарской Золотой Орды, конец которой ознаменован решающей битвой на Куликовом поле в 1380 году.

УДК 82/89  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03098-7

© Бородин С. А., 1941  
© Алгоритм, 1941

## Содержание

Часть первая	6
Глава 1. Москва	6
Глава 2. Руза	11
Глава 3. Москва	17
Глава 4. Кремль	24
Глава 5. Сетунь	28
Глава 6. Гонец	35
Глава 7. Сергей[17]	40
Глава 8. Воинство	45
Глава 9. Лес	50
Глава 10. Сергей	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64



# Сергей Алексеевич Бородин

## Дмитрий Донской

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

© С. Бородин, наследники, 2009

\* \* \*

*Братие и дружино! Луце ж бы потяту быти, неже полонену  
быти. А всядем, братие, на свои брѣзья комони да позрим синего Дону.  
«Слово о полку Игореве»*

## Часть первая

### Глава 1. Москва

Весенний дождь минул.

В монастырях отзвонили к утрени. Солнечный свет засиял по мокрому тесу крыш, по зеленой плесени старых замшелых срубов. Потек в небо сизый и лазоревый дым над Москвой. В Заречье орали петухи, по реке плыл лес, и с берега молодки, шлепавшие вальками на портомойных плотках, окликали сплавщиков.

Конники проскакали под низкие своды Фроловской башни, разбрызгивая черные лужи. Задрав подолы, сторонясь дороги, хватаясь за заборы, шагали купцы. Иные позвякивали свисавшими с поясов ключами. Другие крепко опирались на посохи. Торг открывался рано.

Дмитрий, отирая умытое лицо, смотрел в окно на свой оттаявший город и прислушивался: невдалеке в голых ветвях пел скворец. Выкликнет-выкликнет и притаится; повременит и снова сверкнет чистым и звонким свистом. Блестят капли схлынувшего дождя, всплывают ясные дымы в небо, скворец поет, свежесть весеннего утра над тесным городом светла.

Эти ранние часы, когда в теремах еще нет сутолоки и чужелюдья, Дмитрию мнятся пустыми: с девяти лет княжит он великим княжением над Москвой, а и седатому старцу мудрено бы нести тяжкое бремя этих суровых лет.

Много походов и битв осталось позади – Переяславль, Владимир, Галич, Новгород, Рязань, Нижний, Тверь. Всюду сидели соперники. Каждому лестно вокруг себя собирать Русь, каждого надо убедить, а убеждение одно – меч.

Прежние враги постепенно становились соратниками. Много противился Дмитрий Суздальский, пока и его не поставили под Москву. Москва за то дала ему княжение в Нижнем Новгороде; а он – Московскому Дмитрию отдал в замужество свою дочь.

Утро. Еще спит Евдокия Дмитриевна, и Дмитрий слышит ровное ее дыхание, сплетающееся с пением скворца в ветвях. Когда ее привезли, ему шел семнадцатый год, и он еще не знал, как целуют женщин. Он и теперь краснеет, если задумывается о ней.

Свадебную кашу варили, пир пировали в Коломне, на пути между Нижним и Москвой: Дмитрию ехать в Нижний свадьбу справлять у тестя было негоже – Москва выше Нижнего. Но старику тестю ехать к юному зятю было бы обидно для Нижегородского княжества. Оба соблюдали свое достоинство.

Пировали в Коломне пышно: дабы все ведали, что у Московского Дмитрия в деньгах недостатка нет. Другие князья разоряются на пирах да на усобицах, а московские копят деньги уже не первым поколением. Деда, Ивана Данилыча, прозвали Калитой, а калита – значит кошель; не прозвали бы кошелем, если бы кошель был пуст. Московские копят деньги, а тратят хозяйственно, рассчитывая и на трате прибыль взять. Зять выпал Дмитрию Нижегородскому золотой. Но и дочь достойна: другие княжны в своих византийских бабок пошли – сухи, чернявы, сварливы, и лица их – не девичьи, а лики иконописные. А у Евдокии взор голубой, волосы пышны, стан статен, – голосистая русская девушка Дуня, смешливая и ласковая, с ямочками на щеках.

И едва приехали молодые люди, еще не успели друг друга рассмотреть, бедствия обрушились на Москву. Стояла жара, налетел неистовый ветер, и вспыхнула церковь Всех Святых. Не прошло и двух часов, как огонь опустошил и обратил во прах Кремль, Посад, Загородье и Заречье. Тогда же, посудив о сем с двоюродным братом Владимиром, Дмитрий повелел, как только установится санный путь, везти в город камень. И с весны 1367 года начали ставить на Москве каменный Кремль.

Теперь, за одиннадцать лет, успели возвесть добрые стены, и не только стены, а башни кой-где сложили из камня; крепкий, как кремль, Кремль.

Но еще смрад пожара не рассеялся в воздухе, а уже дошла до Москвы другая напасть: моровая язва, четыре года бродившая по Руси, пала на московских погорельцев. Рассказывали, что хворь нападала на человека внезапно: ударит, как ножом, в сердце, в лопатку или между плечами; огонь пылает внутри; кровь хлещет горлом, прошибает пот, и начинается дрожь. Приходит смерть – неизбежная, скорая, мучительная. Не успевали хоронить тела – едва десять здоровых приходилось на сто больных. Многие дома совсем опустели. Оставалось горестное утешение, что тягость сия оказалась тягче для других мест, – сказывали, в Смоленске от всех жителей уцелело лишь пять человек, и эти пятеро вышли из городских стен и затворили за собой город, наполненный трупами.

Но и язва не останавливала княжеских усобиц: тверские князья Василий, Всеволод и Михаил повздорили между собой на дележе уделов, оставшихся от почившего князя Симеона. Дмитрий примирил их, заставил слушать волю Москвы. В прошлом году вышла из повиновения Тверь. Тогда он осадил ее и кровью тверитян снова утвердил власть Москвы.

Что ни поход – все больше становилось у него подручных князей. Год от года больше полков оказывалось в московском воинстве. Стали и князья понимать: в единении – сила. Сами приезжали в Москву стать под руку Дмитрию, мириться или уговариваться о дружбе с ним: все труднее становилось ближним уделам противостоять Москве. Стала Москва богаче, торговее; спокойнее было за ее спиной, нежели одиноко стоять перед Половецким полем.

Ольгерд Литовский<sup>1</sup>, сын Гедимины, приходил под стены Москвы, да не смог взять города. Татары набегали на дальние пределы московские, болгары озоровали на Волге. Не было года для роздыха.

Науку Дмитрию произойти довелось битвами, а не рукописанием; жизнь познать на окровавленной земле; людей – в воинском стане.

Дважды ездил в Орду – договариваться с Мамаем. Ходил войной на болгар и разгромил их. Взял Казань в позапрошлом, в 1376 году. В прошлом году умер опасный враг – старый Ольгерд Литовский. Теперь похоронили Алексея-митрополита<sup>2</sup>, Дмитриева наставника. С детского возраста князь вникал в наставления его. Вельми учен и мудр был Алексей!

Он вложил в сердце Дмитрия твердость, он ковал из юноши воина, готовил не для книг – для меча.

– Не тщишь покорять чуждое племя, но противоборствуй всякому, кто твое племя поработить тщится! – говорил Алексей. – Аще неможен возрастом, но аз реку: сними ярмо басурманское с земли Русской, Димитрий. И еже един ремень того ярма порвешь, благо ти будет. И преемству своему закажи остатние ремни рвать. Вольный народ силен; угнетенный – день ото дня слабее становится!..

И скоро уже сорокоуст по нем свершать. Горестно сие.

И Дмитриев дядя Симеон Гордый, умирая, завещал единение меж всеми князьями русскими, но, опасаясь чужих ушей, изъяснил иносказательно:

«Я пишу вам се слово того для, чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла». Эта свеча означала борьбу с чужеземным игом.

---

<sup>1</sup> Ольгерд – князь Литовский. Вел борьбу с Москвою, Новгородом, с Тевтонским орденом. Умер в 1377 г., поставив на княжение сына Ягайлу. (Здесь и далее примечания П. В. Слетова.)

<sup>2</sup> Алексей (Елевферий-Симеон) – митрополит – сын боярина Федора Плещеева, бежавшего из Чернигова от татарского нашествия, крестник Ивана Калиты, при постриге принял имя Алексия. Всей своей церковной и политической деятельностью оказывал помощь московским князьям Симеону, Иоанну и Дмитрию в утверждении их власти над другими князьями. Умер в 1377 г.

Теперь – слышно – идет усобица промеж сыновей Ольгердовых в Литве. И в Орде тянется усобица. Пока враги тяжбятся и режутся сами с собой, надо не покладая рук крепить единомыслие на Руси, стирать с нее кровь прежних усобиц.

Ночной дождь минул. Слышно, как в Чудовом поют утреню. Там ныне почиет Алексей. От влажной земли встает пар к весеннему солнцу. Птица в саду смолкла. По дворам колют дрова, стучат бадьи, спускаемые в колодцы. Видно вон, как топор к вожже привязывают: надо со дна упавшую бадью достать; глядишь, и топор там же окажется! Перекликаются женские голоса. По улице идет народ к торгу. Москва встает, начиная свой день. Боярам время ждать Дмитриева выхода – ждут новые дела, новые вести. И это легко: нет тяжелее бремени, чем безделье.

Дмитрий обрядился в простую белую удобную справу, опоясался узким пестрым персидским ремешком, надвинул потуже красный обручок на голову, дабы волосы не лезли в глаза. Вырос он в походах, привык, чтоб одежда не бременем была, а подспорьем; промеж людей тесно ходить в пышном византийском облачении, да и жарко: печи в хоромах довольно натоплены. Отпустил отроков, помогавших одеваться, и пошел взглянуть на Евдокию.

Она уже проснулась и молча смотрела на него. Он тоже ей улыбнулся и пошел было прочь, но у двери оглянулся, подошел к ней опять, поцеловал в еще теплые от сна щеки.

– Приходи пораньше, – сказала она, – не засиживайся в думной.

– Не тужи, Овдотья, коли задержусь, – время пасмурное, дел полно.

– Не в походе, чать.

– Мите твоему всяк день – поход, всяка ночь – розмыслы. Чего Москва не домыслит, мне домыслять; чего я не домыслю, тое Москве обернется мором, голодом, лезвием басурманским, а с Москвой – и тебе, лебедица.

Он прошел в полутемный покой, где стояли, переговариваясь, отроки. За одной из дверей слышались негромкие медлительные голоса, там ждали его.

Прежде чем войти в думную, он остановился и прислушался. Кто-то, приехавший из Сербии, если судить по выговору, спрашивал о княжеском облике. И Дмитрий по голосу узнал Бренка, степенно описывавшего сербиану наружность великого князя.

– Крепок и мужествен. Телом велик и широк. И плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело.

Дмитрий провел рукой по животу, ту же затянул пояс. Подтянулся, выправился, будто стряхнул с себя лишний груз. Сурово сдвинул брови. А Бренко продолжал:

– Брадою же и власами черен. Взором же дивен.

– Ин как ты, Михал Ондреич, князя своего взвесил! – сказал Дмитрий, входя в палату.

И Бренко растерялся, а сербиан ужаснулся происшедшему. Но, видя светлое лицо князя, оба поняли, что разговор их не лег во гнев.

В этот день не было ни тяжких вестей, ни тягостных просьб, ни тяжб между боярами, словно солнце, впервые выглянув после хмурых дней, осушило все горести. Дмитрий не любил таких безоблачных дней: светлый день казался ему предвестием грядущих гроз.

Он долго допытывал каждого о всех делах.

Бренко сказал:

– Сей вот сербиан Пипер приехал со своими мастерами. Вельми научен клинки ковать.

– Коим видом куешь, друже?

– Бесерменским месяцем и литовским лучом. Не облик важен, а булат, из коего меч куется.

– Значит, сплав ведаешь?

– Ведаю, господине.

– Испытать надобно. А кем обучен своему делу?

– Генуэзцы учили, веницейский мастер наставлял.



Дмитрий пытал Пипера о дальних странах, об оружии их, о войске их; обычаи их выпрашивал, о стенах их городов, о стрельницах над теми стенами. Не первого оружейника заманил он из заморских царств в Москву, он расспрашивал каждого, кто приезжал, сам. Бренку строго было наказано всякого нового мастера вести к князю. Расспросив и сравнив ответы Пипера с другими рассказами, Дмитрий отпустил сербиана. Многое из рассказанного им было уже известно Москве.

Воинскую науку Дмитрий ставил превыше иных: век был таков, надо было ковать мечи. Деды замышляли, внук ковал. Мечам надлежало быть лучше прежних, да и не только мечам. На Запад слал Дмитрий мед, воск, пеньку, деготь и многие иные лесные добытки: шкуры зверей – бобра, соболя, горностая. Запад льстился даже на лису, и на куницу, и на белку – слал Дмитрий Западу и белок, и куниц, и лис. А длинной дорогой через Новгород, Волок, Рузу по струям лесных рек плыли в Москву ладьи, груженные литовскими мечами, немецкими копьями, плыли в тех же ладьях или лесными дорогами прибредали ливонские оружейники и свейские военных наук наставники. А по раздолью степных рек поднимались к Москве ушкуи<sup>3</sup> с басурманскими крепкими кольчугами, с легкими татарскими шлемами, с черкасской сбруей для конницы. Деньги из княжеской калиты утекали и на Запад и на Восток. Но добрый сеятель не бережет семян, если знает, что поле под посев уготовано, что каждое семя не на камень ляжет, а на вспаханный пал.

В думной гридне, сидя среди давних своих советников, Дмитрий выпрашивал дряхлого Тарусского князя Федора, бывшего то лето в Москве, хватает ли ему людей на земле, засеивается ли земля, как задумано. А задумано между ними обработать обширные плодородные земли под Тарусой, дабы скопить хлеба впрок на черный день, на длительные походы, коли таковые случатся.

Бренко подивился:

– Допрежь не бывало сего в обычае. О запасах купцы радели.

Дмитрий нахмурился:

– Ради корысти и почести. И не мало на том от народа достатка имали. Народу недород – сума, купцу – терема.

Тарусский князь напомнил:

– Новгород голодал, обезлюдел. Голыми руками всяк мог его взять. Новгороду Бог помог, упас в тот год от нашествия. А в другом разе может и не упасти.

– Господь милостив, – перекрестился Бренко.

– Спаса проси, а себя сам паси, – ответил князь Федор.

Когда вышли из гридни князь Федор и бояре, когда, осенив себя крестными знаменами, переступили за дверь монахи, – остались в думной лишь ближние, окольничие.

– Что по городу слышно? – спросил у Бренка Дмитрий.

– Купцы жалобятся. Иные торговые города – Новгород, Псков – ведут торг с Западом сильнейший Москвы. Рязань торгует с татарами. Смоленск с Литвою. А нам до греков путь через татар, до фрязинов – через Псков. Татары закрыли Восток, от коего в досельные времена Русь имела изрядный прибыток. Шемахань закрыта, Цареград словно отодвинулся. Ряди, как Москве поднять торг?

– И свейские, и шемаханские, и татарские купцы, куда бы ни шли, через Москву идут; нам от того прибыль. Чего купцы жалобятся? Ото всех слышу: самый юркий купец – москвитин, самый богатый – москвитин.

Бренко возразил:

– То и худо. Придут татары наших купцов чистить, не обойдут и наших ларей.

Дмитрий задумался о татарах.

---

<sup>3</sup> Ушкун – ладья, лодки.

Все, кого он помнил и кого не помнил в своей семье – и духовный его наставник Алексий-митрополит, покойник, и троцкий игумен Сергей, – все мысль свою изостряли в ненависти к тяжкому ордынскому бременю. И Дмитрий понял от них и принял на себя великое обязательство: скинуть с плеч народа ярмо Орды.

Без гнева бился он с литовцами – то были свои князья: родством, и свойством, и верою христианской. С ними можно было договориться в тяжкий час, откупиться, обойти хитростью. А с Востока, от ордынских степей, каждодневно могло повеять гарью русских сел, разореньем родной земли. И бояре, растившие Дмитрия, тоже воспитали в нем гнев и обиду за Русь, за пролитую кровь единокровных братьев.

С ним сидели молча, не глядя в его лицо, Бренко, двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской и старший из всех по возрасту, выходец с Волыни, князь Боброк, зять Дмитрия. Да еще отроки стояли у двери. И дума долго бы не оставляла Дмитрия, если б один из отроков не поспешил к Бренку:

– Ордынского каменщика привезли. Спрашивают, когда князю предстоять будет?

В другом разе, может, и отложили бы разговор с каменщиком, но сейчас хорошо было отвести тяжкие думы от Дмитрия.

Потерев ладонью о ладонь, словно от мороза в тепло вошел, Бренко сказал:

– О креплении Москвы пещись надо.

Волынец Боброк<sup>4</sup> с удивлением посмотрел на Бренка: не приходилось еще от сего человека слышать забот о креплении Москвы. Хозяйствен был Бренко, умел князю прибыльное дело подсказать, присоветовать по торговой части, оружие задешево достать, о продажных полоняниках проводить, но смысла хлопот своих не разумел: пекся о деле, а к чему оно – не вникал. И Боброк порадовался, что Бренко наконец уразумел воинские нужды.

– Я о каменщиках сведал. Надо нам каменные стрельницы над Кремлем крепить. Иные нескладно ставлены, а кое-где и на каменной стене дубовая стрельня высится. Сам ты, Дмитрий Михайлович, о том скорбел. Я велел розыск учинить. Нашли на княжем хозяйстве ордынца зодчего. Нельзя, думается, дело тянуть. Велел привести того мастера, – сказал Бренко Боброку.

Дмитрий поднял голову.

– Пускай придет.

Встав, князь прошел по думной и остановился у окна: ставили Кремль скоро, стены сложили складно, и надо строить еще, чтоб крепче стало. А башни – верно Бренко сказал – нужно доделывать, а где и заново ставить.

---

<sup>4</sup> *Боброк* (Волынский) Дмитрий Михайлович – воевода Дмитрия Донского, боярин. Женился на сестре великого князя Анне. Во главе московских войск разбил Олега Рязанского (1371), возглавил успешный поход на казанских болгар (1376), участвовал в успешном походе на литовские владения (1379), нанес решающий удар Мамаевым войскам на Куликовом поле (1380).

## Глава 2. Руза

В лесах, в топях, в непролазных лесных дорогах, на высоком насыпном холме, над привольной рекой сложен Руза-город. Прежде жила тут чужь, ныне и память ее стерлась. Лишь река, подмыв берега, открывает то серьгу чудскую, то янтарную бусинку, то решетчатый чудский перстенок.

По реке плывет вниз лес. Дойдя до Устья, он повернет на Москву, потечет по Москве-реке, мимо города Рузы. Плывут намокшие, потемнелые бревна. Стояли они в глухих лесах, шумели ветвями; птахи вили гнезда на них, выводили птенцов. Ныне далеки птенцы, на тех деревьях вскормленные, далеки сучья, оставшиеся в глухих лесах. К осени доплывут бревна до Кремля. Выловят их крюками на берег. Выволокут, высушат. Срубят терема и хоромы, поставят избы, будут под их покровом бабы мужей любить, смердов рожать, доколе не сожрет огонь домов тех. Тогда дымом в небеса изойдут, потекут в далекие дали.

Из поколения в поколение переходит Руза в роду князей московских. Иван Калита<sup>5</sup> и родился тут.

Теперь хоромы княжеские ветхи стоят – князю Дмитрию наведываться в эту даль недосуг.

Но избы для смердов не бывают пусты. Кровли их, крытые черной соломой, пропускают дым: когда печи топят, дым сочится вверх, в небесную высоту, сквозь солому крыш. Стены под кровлями сложены из толстого, векового леса; сложены на долгие годы, чтоб на перестройку часто не тратиться. Складывал их еще Иван Калита.

Люди живут тут в тесноте, да не в обиде. Не в обиде живут и расселенные вокруг города на великокняжеской земле люди всяких ремесел и промыслов – седельники, тульники, медники, серебряники, копейщики, кузнецы, доброй волей шедшиеся в эти укромные места из разных городов и народов.

Прямо надо сказать: у князя Дмитрия людям, смердам, страдникам житие не обидное. Московские князья хозяйственны:

«Ежели коня плохо ковать, далеко не пройдет конь».

«Ежели корову худо кормить, молока с нее не возьмешь».

«Ежели раба морить, работу с него не взыщешь».

А посему люди на князя не в обиде: идти некуда. Как далеко ни иди, ни в князья, ни в бояре, ни в купцы не дойдешь; путь один – в жизнь вечную, в царство небесное. Да как ни сладко загробное житие, а земное премного слаще.

А жить – значит жать. Не жать – лен трепать. Не лен трепать – дак шерсть валять. Повелел Бог человеку добывать пропитание себе в поте лица. И православный Иисус, и магометанский бог, и монгольский, и языческий – все между собой сошлись в одном: должен человек работать, а наград на земле за работу не спрашивать. После смерти всякому предстоит воздаяние. Жизнь же надлежит проходить в смирении, гордыней до Бога не возвысишься, смирением же и князя умиловити, и боярина улестить, и пристава ублажить можно.

Высоко над широкой рекой высится город Московского князя Дмитрия. И живет в том городе народ многоязыкий, разноликий, чужедальний сбор. Народ, полоненный в битвах с половцами, с болгарам, с черемисами, приведенный из походов на Литву, из земель угорских, из битв польских. Пленники, уведенные татарами из русских же городов, из Персии, из Черкасии, из Абазии, а позже купленные московскими князьями у татар. И таких, покупных, име-

---

<sup>5</sup> *Калита* Иоанн Данилович (1328–1340) – великий князь Московский, сын Даниила Александровича. Закончил победоносно длительную борьбу с Тверью. Купил Углич, Белоозеро, Галич. В его княжение прекращаются татарские походы на Москву. Остался в памяти потомства как первый собиратель Русской земли. Калитою назван потому, что носил мешок (калиту) с деньгами для раздачи нищим.

нуют ордынцами – у Орды, мол, откуплены. Иные прошли через многих победителей, насмотрелись на битвы и на кровь: сперва доставались от мордвы татарам, от татар – рязанцам, от рязанцев – владимирцам, а оттоле – князю Московскому. Длинные пути, пройденные многими; но никому не доводилось перекупить полоняников и ордынцев у Московского князя Дмитрия.

Дмитрий милостив: блюдет воскресенье – кормит и работы в этот день не взыскивает. По двенадцатым праздникам дает в еде надбавку, помнит: «Блажен милостивый, иже и скоты милует...»

Милует князь ордынцев – не касается и жен их. Даже диковинно сие для воина и князя!

На смену почившему приставу приехал в Рузу новый, из Москвы, за княжеским двором смотреть. Если были на дворе нерадивые десятники, злосердные, корыстные, любодои – всех тот москвитянин разжаловал:

«Егда конюший за конем не следит, княжого коня не холит, секут того конюшего, дабы впредь холил».

«Егда конь не вскормлен, не сдвинуть коню воза, в колеях увязшего, и секут не коня, а конюшего, дабы коня вскармливал».

«Егда у коровы дородной на вымени три сосца доятся, а четвертый обмяк, бьют не корову, а дойницу, дабы из всех сосцов на княжой стол молоко текло».

Так говорил Пуня, прибывший от Дмитрия Московского; говорил, сеча десятников, в назидание тем, кого вновь в десятники ставил.

Пуня повел себя с десятниками круто, а с ордынцами и челядью взыскательно, но милостиво. Хороший хозяин князь Дмитрий Иванович!

Спали люди в избах на полу, на войлоках. Низко спать лучше – поверху дым и чад ходят, а внизу воздух легче. Ели в трапезной за столами, а не на полу, как водилось в прежних полонях. Чашка полагалась одна на шестерых – тоже милостиво: свалок не бывало. Ложку выдавали одну на каждого, не приходилось щей горстями хлебать. Хлеба давали досыта, плетми при нужде били не до немощи, а лишь вмоготу. Искусных в ремесле опекали особо. Старых приставляли к легкому труду.

– Егда сил у смерда на пять мер, он те пять мер подымлет многократно. С шести же мер, подымая, сорвет живот и более не сможет поднять ни шести горстей, – говорил Пуня.

– Сладки у Московского князя калачики: один съешь, другой сам в рот просится. Золотисты и хмельны меды на княжом столе. Я с той пищи крепнул, а у смерда она отъемлет силу, – поучал Пуня.

За долгие годы усердия немало повидал Пуня великокняжеских сел. Но молчал о том, что легок меч в княжеских руках, а не княжескими руками выкован, что не бортничает князь для своих золотых медов, не сеет, не жнет, не мелет пшеницу для калачиков, и стад не пасет, овец не стрижет, не валяет шерсти для войлоков, для потников, не задумывает узоры для попон, не чеканит серебром своего седла, – а поел, попил, на коня скочил, шелковой плеткой коня хлестнул, поскакал в раздолье длинных дорог славы себе добывать, меч о вражеские мечи пытаться. Дело князей – битвы; дело людей – труд. Победные битвы дают князю людей. Люди – плоды трудов своих. Ради сего и покидает он златоверхие терема, теплую жену, большеглазых младенцев, сладкую еду, хмельное питье. Ради того и приемлет тяготы походов, раны битв. Победа – это богатство; поражение – разоренье. Надоело позор сносить, разорительно ордынское иго.

Об этом не вел речей Пуня, хотя и много глагольствовал в трапезной, дабы за едой праздная мысль не посещала людей.

Плывут по реке леса. Слышно, как где-то сплавщики песню тянут.

Пуня не препятствует народу играть песен. Добрая песня дает облегчение рукам. На княжом двореще песни многоязыки. В избах трудятся люди разных племен.

Людской пищей, овсяным хлебом, Пуня не брезгует; когда солнце станет на полудень, он идет в общую трапезную и усаживается за стол под образом. Десятники раболепно утихают,

и челядь сдает в исправном молчании, никто не нарушает глаголений Пуни. Один лишь бывший чернец, расстрига Кирилл, иной раз перечит вполголоса. Каждому свой норов дан, и, если он другим не во вред, Пуня тому норову не перечит. Кириллу же он всегда находит слово в ответ.

Кирилл – громаден, волосат, речист. Прежде очень был набожен; многократно осенял себя крестным знаменем – перед едой и после трапезы, и в Священном Писании сведущ. Но прегрешения ввергли раба сего в неволю.

И Пуня вспоминает слышанное о Кирилле:

– Был чернцом Чудова монастыря, но согрешил. При наложении епитимьи в Коломну, в Голутвину обитель, был послан на покаяние. Но там иноческого целомудрия не соблюл и за то игумном позорно расстрижен, князю сдан, а князем прислан сюда. За мощь свою десятником поставлен. Не злонравен, но нерадив. Мало с нерадивых смердов взыскивал и за то взыскан. На черную работу переставлен – двор блюсти, сор мести.

Давно Пуня к Кириллу приглядывается. Последнее время дружбу с басурманом Алисом свел. Алис – шемаханский персиан – веры нашей не понимает, речь нашу не понимает, с Кириллом беседу ведет на языке греческом. Смысл слов Пуне невнятен – греческой премудрости Пуня не обучен, но понятно, что беседа их дружественна: на Святках сидели Кирилл и Алис на морозе под Ивановской башней, под Крещение вместе в баню ходили и друг друга можжевеловым терли истово, в Великую пятницу Кирилл в храм Господень не просился, а с Алисом на реке ледоход смотрел. На Фоминой неделе в бубен бил, будто хмельное в рот брал, Алис же песню играл на языке поганском. Сие удивительно и внимания достойно. Будь у Пуни право, он того ордынца Алиса продал бы; хил, желтолиц, задумчив. А о чем смерду думать, когда сыт? Да и худоумен Алис. В праздник сидит от всех в отдалении, на голой земле. Что-то шепчет, неведомое Пуне. Пальцами ковыряет землю, улыбается сам себе, хмурится, спешно рушит воздвигнутые на земле бугры и канавки, снова лепит бугорки и улыбается. Будь он в людной Москве, да прославлен, да благочестив, московский народ почел бы его за юрода; бабы пошли бы просить совета от килы или от бесплодия; молодки вышептывали б у него приворотных трав; воины от стрел слово спрашивали б али о судьбе похода пытали. А ныне в Рузе кому такой шемаханец надобен?

Кириллова дружба с Алисом началась так. Сидел персиан на песке, когда каждый в тот день норовил недоимки за всю неделю от жизни взять – порты латали, одежку стирали, спали, сапоги тачали. Накануне смещен был из десятников Кирилл и пошел двор надзирать. Видит: всяк занят делом, а хилый шемаханец устался в землю, от всех в отдалении, и то улыбнется, то руками в песке шарит. Суший младень, а волосом стар. Безумен, что ль? И наступил Кирилл могучей пятой своей на языческие затеи в песке. И услышал как бы вскрик, будто бы на живое тело ступил. А вскоре и ругань обидную и ярую услышал. Взглянув, Кирилл обмер: за всю жизнь не бывало подобного – стоит мертвец мертвецом, ростом Кириллова плеча не достигает, а поносит бестрепетно. Может, мнит, что греческой брани Кирилл не понимает?

– Не хули сильнейшего тебя, ибо я тебя разумею, – сказал ему Кирилл по-гречески.

– А я презираю тебя, дикарь!

– Рабу непристойно носить в себе презренье, – ответил Кирилл.

– Ты мразь, – сказал шемаханец.

– Я верую во Христа, ты же возрос во тьме, как червь. Чем же ты величаешься, худоумный?

– Знаю вашего Бога. И многих всяких богов познал. Твой Бог осуждает рабство, а оба мы – рабы у слуг Бога твоего. Твой Бог...

– Замолчи, замолчи, нехристь окаянный! Не соврати души моей, не омрачи веры моей. Подаждь ми, Господи, твердость не раздавить нечестивца сего!

И от соблазна Кирилл отошел прочь.

На работе некогда по сторонам глядеть. Но Кирилл увидел Алиса вновь. И опять тот сидел на песке.

– Почто сидишь, как юрод, во прахе? – спросил Кирилл. – Юрод ли ты? И не откроешь ли мне грядущее?

– Не волхв, не юрод, грядущего не ведаю, настоящего не имею. Прошлого в себе искоренил. Жил в городах и народах многих. Сам создавал из камня дома, стены и башни крепостей. Ныне приведен в край, где обречен из глины и песка лепить свои замыслы. И каждый может наступить на постройки мои и, если не сдержу свою боль, наказать за то, что мне дорого. Так я живу.

– Ты грек? – задумался Кирилл.

– Персиан. Но в Цареграде двенадцать лет строил. Оттоле прельстился на болгарский великий город взглянуть. Путь мой был пресечен битвой, и вместе с людским скопищем куплен Московским князем как полоняник ордынский, и ныне десятый год влачу жизнь раба. Ты же в своей стране раб. То горше.

– А я за насилие над блудницей, брате.

– Непонятно мне.

– Чернецом был. Постригся во избежание тягот житейских, от нужд земных. И не снес несправедливости келаря, наплевал ему в харю. Игумен меня в новозданную Голутвину обитель сбыл. Там недалеко посад есть. Вдова посадская распалила чресла мои, и сдержать ту любовь не хватило сил. Быв оглашен ею, ныне с тобой беседую. Родом же я из Зарядья и в юности купцами в Цареград завезен был и по разорении тех купцов в Цареграде кинут. В Студийском монастыре<sup>6</sup> рос. На каменных работах кормился, пока Алексей-митрополит не вывел меня в лоне челяди своей обратно на Русь. Оттоль и греческая речь моя.

– Может быть, единый дом с тобой воздвигали! После же далеко разошлись. Вьются, как живые змеи, пути человеков. Ныне опять сплелись.

И не раз так они встречались. Кириллу стал понятен каждый холмик в песке под рукой Алиса и каждый комок глины, расправленный его пальцами. Кирилл даже оспаривал иное, и Алис вникал в его слова.

Однажды Кирилл сказал:

– Писано: при созидании столпа в Вавилоне перемешал Бог языки строителей, и перестали люди понимать друг друга. И пошло оттуда различие в языках человеческих. Не разумею сего, но токмо вижу в нашей Рузе единомыслие и понимание разноплеменной челяди. Творение ли столпа, иное ли общее дело объединяет племена, а не разобщает их.

– В писаниях ваших мало истины, – ответил Алис – Сказано: Бог все видит, все знает, каждая жизнь известна богу заранее. И еще сказано: человек послан в мир сотворить свою жизнь праведно. Если Бог видит все поступки человека прежде, чем человек совершит их, зачем же испытывать его? Наш шоир<sup>7</sup> Хайям пел так: «Когда из непрочной глины Бог слепил мое тело, он вложил в меня сильные страсти, а сил, чтоб бороться с ними, не дал. За что же грозишь мне адом, если сам ты ошибся, Бог?»

Так разговаривали они, и Пуня замечал, что не столь ревностно исполняет Кирилл православные обряды и все что-то роется в песке вместе с Алисом. Пуня обеспокоился.

Однажды весной вызван был к Пуне Кирилл. Пристав стоял в башне, высоко над рекой. Отсюда был виден плавный поворот реки. Тронулся лед и медлительно шел, теснясь вдали и просторно поворачиваясь здесь под городом.

---

<sup>6</sup> Студийский монастырь в Константинополе был рассадником православной церковной грамотности, при нем русские, например новгородцы, занимались списыванием книг.

<sup>7</sup> Шоир – слагатель песен, певец, поэт. Здесь подразумевается Омар Хайям.



– Дивно мне, – сказал Пуня, – твое почтение к греческому языку. Язык этот птичий: на нем стрекочут скворцы.

Но Кирилл жестоко посрамил Пуню:

– Богослужение в Цареграде на нем совершается. Сие есть язык церкви отцов, а не скворцов.

– Дерзок ты. Но скудоумие и блуд твой известны Богу. Он те судья. Что ты в песчаных затеях шемаханских зришь?

– Сие не затеи, а глубокомыслие. Ибо он каменные города ставить научен был, ныне же из песка подобие их воздвигнуть тщится.

Так Пуня узнал о зодчем Алисе.

В Москву он написал так:

«А есть на княжом дворище ордынец Алис, шемаханец родом. Велико учен зодчему делу. Нынь же валяет шерсть на войлоки и на той работе изнурен бысть. Как слышали мы, князь великий Дмитрий Иванович зодчих людей ищет. О том Алисе отписываемся».

Был на Москву путь не скорый, но верный – реками. Был и скорый – лесами. Письмо Пунино пошло реками. Отпис из Москвы примчался лесом. Лесом же и Алис отбыл из Рузы в Москву, а с ним и каменщик Кирилл. И привели их в Кремль.

В Кремле Алис увидел княжеский толстостенный и многосрубный терем, где окна, разбредшиеся по стенам, как кони по полю, украшены резными косяками, разными красками расписаны. Взглянул на золоченую кровлю, над коей по углам высились кованые из железа львы. Увидел витые столбы крылец и переходов. И показалось это Алису грудой беспорядочно наваленных дров.

Рынды<sup>8</sup> и отроки княжеские озаботились об одежде Алиса. Нескладное, неловкое, дорогое одяние отверг. Он выбрал простую холщовую рубаху, плотно его облекшую, показался еще ниже ростом от длинного ее подола. Поверх надел розовый камчатый доломан, схожий с шемаханским кафтаном. И так сел ждать Дмитриева зова. Кирилл же залег в это время на подворье и разговорился с людьми.

– Много ль вдовиц, много ль девок невестных на Москве? – спрашивал он.

Не грех разжигал Кирилла, а то, что много лет чернецом был, что запретна была ему мирская мысль и мирская скорбь, ныне же уже не чернец и даже забыто, что расстрига он; стал теперь Кирилл просто княжеским каменщиком, равным всякому мирскому рабу, может теперь он взять себе в замужество бабу, полонянку ль, вольную ль, коли не устрашит вольная за раба выйти и так в рабство войти. И разжигало Кирилла чувство, что разговаривает он с людьми, как муж, коему открыт путь к семье.

А у князя в черной палате ветхий пристав, пожевывая беззубыми деснами, неодобрительно шурился на Алиса:

– Ждет раб княжеского зову. Может, день, может, неделю прождет. А негоже рабу рядиться в цветное платье. Негоже князю принимать раба, как иноземца. При Дмитрие многое деется, чего не было ни при Симеоне Иваныче Гордом<sup>9</sup>, ни при Иване Иваныче<sup>10</sup>, а наипаче при великом князе Иване Данилыче, при Калите.

Алис же стоял терпеливо и молча. Греческого языка в черной палате никто не разумел. Русскому языку Алис худо научился, персидский же сам забывать стал. В Рузе было больше собеседников. А в Царьграде ему и с византийским императором разговаривать доводилось. У царьградского императора дом – не здешнему деревянному ларю чета. Да и не пустили бы

---

<sup>8</sup> Рында – телохранитель, оруженосец.

<sup>9</sup> Симеон Гордый – старший сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1341–1353), которого хан объявил великим князем Владимирским.

<sup>10</sup> Иоанн Иоаннович, второй сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1353–1359). После смерти двух его братьев получил от Орды ярлык на великое княжение.

в тот дом такое вот чучело в облезлой шубе, с рожей, похожей на гнилую фигу; а еще нарекли такое приставом, приставили в палате чин блюсти.

В это время, промчавшись по многим лесенкам и переходам, торопливо вбежал отрок: великий князь кликал раба наверх.

### Глава 3. Москва

Дмитрий присел на скамье, стоявшей в думной возле окна. Облокотился о подоконник. Проехал конный стражник; в седле сидит крепко. Не то уж войско, что смладу Дмитрий на Дмитрия Суздальского водил, – тогда от души бились, а биться не умели. Скоростью брали. А теперь биться научились. И оружие уже не то: не домодельное. Бывало, топорами вооружались. Насадят на шест – вот те и секира!

Бренко, Боброк и Владимир Андреевич Серпуховской негромко разговаривали между собой. В думную достигал чад из поварни – пирогами пахло. «Время снедать», – подумал Дмитрий. Яства любил.

Алис, не доходя его, стал на колени. Дмитрий спросил:

– Сказывают, ты научен каменные дома ставить?

Боброк перевел вопрос князя по-гречески. Дмитрий говорил только по-русски, по-гречески помнил наизусть лишь несколько молитв.

Алис отвечал, склонив голову, прижав руку к сердцу:

– Много ставил, кир<sup>11</sup> Дмитрий Иванович.

– Зачем же таил сие?

– Не таил, кир, – нигде не видел, чтоб каменные ставили. Везде одним деревом обходятся. Деревя ж я не разумею.

– Дерево покрывает нас. Его любим и чтим. Но пора о камне думать. Коли ты зодчий искусен – порадуешь. Скуден – берегись: снова в Рузу али в Можай пошлю. А в Можое мое дворище паче Рузы. Туда татар намерен послал, а с них строже взыскивают.

– Внемлю, кир, слову твоему.

– Стрельню в Кремле надо ставить. Иные худо поставлены, поиначить надо. Над тайником надо искусно стрельню сложить. Там ход к воде и к погребам. Можешь?

– Ставил, кир, башни. Открывался с них вид на простор моря. Подземные ходы в Цареграде прорывал. Земля просторней, если в земле есть пути. Мне знакомо сие.

– Ну, добро.

Дмитрий отослал Алиса к дворскому боярину. Рында повел его. Никто, кроме князя Серпуховского, Боброка и Брейка, этих близких Дмитрию людей, не слышал его разговор с Алисом.

– Ты, Дмитрий Михайлович, порасспроси его позже, – обратился он к Боброку. – Какие столпы там ставили, воинским нуждам отвечают ли? И что еще он может? И дружину ему надо немую дать. Понял меня?

– Сам думал – надо немую.

– Да и сам пусть мысль словом не оболакивает. Слово гречское, а иные татарове – и те ему внемлют.

– Приглядим, Дмитрий Иванович.

– Не ведаешь ли, Михаил Ондreich, каковы зографы<sup>12</sup>, что ныне Чудов расписывать взяли? – спросил Дмитрий Иванович Бренка.

– Дивны, княже. Словно не кистью касаются стен, но как бы мыслью.

– А ведь не греки!

– Да я и твержу: почто нам греки, когда свои есть. Разве Захарий с дружиной своей Архангельский собор хуже греков расписал? В Чудовом теперь москвитяне себя покажут!

Дмитрий спросил:

---

<sup>11</sup> Кир – царь (греч.).

<sup>12</sup> Зограф – художник.

– А в Новгороде, рассказывают, грек Феофан у Спас-Преображенья работает. Много его похвалили.

– Слыхивал, – сказал Бренко, – он церкву Федора Стратилата расписал. Легко пишет. Черту с чертою не сводит, а образы как бы воздухом объаты либо ладанным дымом окурены. Так легки.

– Надо и его на Москву перезвать. Надо все лучшее со вся Руси в Москву брать.

– Перезовем, Дмитрий Иванович!

Отрок от княгини пришел звать к трапезе. Большой, тяжелый Дмитрий мгновенно, как взмах крыла, поднялся:

– Пора уж!

Они пошли. В трапезную gridню вели сложные переходы. Любы княжескому сердцу витые пути.

Gridня была застлана попросту – ряднами. Утварь на столе деревянная, разрисованная – и солило, и солоница, и брашно. Чужих сотрапезников не было, и княгиня вышла полдневать с мужем. Один Бренко в родстве не был, но, видя его каждый день при муже, привыкла княгиня считать сего боярина за своего, – с Дмитрием рос, вместе гнезда разоряли, щеглов ловили.

Отроки служили в белых рубахах до колен, в белых исподниках, босые – не для чего летом сапогами топтать.

Поднесли каждому таз, полили из ордынского кувшина на руки, подали полотенце, расшитое красными павами. Бренко задержал шитье.

– На такое рукоделье суждалки искусны.

Дмитрий повернулся к нему:

– Ты, я вижу, дела женских рук по всей Руси сведал?

И вдруг покосился на Евдокию. Но она потчевала Боброка и не вникала в их разговор.

– А насчет Суждала ты верно понял. Это Овдотын рушник, оттоль привезен.

– День нонечо хорош! – сказал Владимир.

– А любо было бы в такой денек утеху срядить, – отозвался Бренко. – Время марно, воздуха легки. Славно было бы в лесах лося взять, плечи размять.

– Думаешь, от охотничьих утех у князя твоего чрево убудет? – засмеялся Дмитрий.

– У меня б за Кудриным! Хороши леса!

– По всей Москве таких лосей нет, как на Сетуни, – сказал Боброк. – Невидная речка, а добычлива. Намедни пастухи двух косуль видели небывалых – рога как у туров, а ноги олени. Туда и свейские олени заходят, седые.

– Отец Сергей рассказывал: в прошлом годе в самую Троицкую обитель стадо вепрей закинулось. Пришлось отцу Сергию посохом их изгонять со своего огорода. Всю, говорит, капусту выломали, – сказала Евдокия.

Боброк ответил:

– Вепрье мясо как бы псиной отдает. Не уважаю.

Евдокия попрекнула:

– Ты, Дмитрий Михайлович, слыхивала я, медвежьи окорока коптишь. Я такой дичины брезгую.

– Ее вкус со свиной схож. Но жир много гуще. К медвежатине я приобьик на Волыни, Овдотья Дмитриевна.

Владимир Андреевич заметил с раздражением:

– Эн Ольг Иванович в Рязани приобьик с татарами конину жрать. Алексей-митрополит еще о том его запрашивал.

– Тьфу! – передернулась Евдокия. – А что ж он ответил святителю?

– В Орде, говорит, истинно – поганился. А в Рязани – чист.

– Он и соврет – дорого не спросит! – усмехнулся Дмитрий Иванович.

– С волками жить – по-волчьи выть! – возразил Бренко.

Боброк покачал головой:

– А кто неволит его жить с волками? От Рязани до нас ближе Орды.

Евдокия любила, когда за ее столом говорил Боброк. Легкий его голос будто таил в себе силу и ласку.

– С Ольгом договориться мудрено, – сказал Бренко. – Говорит – в глаза смотрит, а глядь – повернулся ветер, и Олыг повернулся.

– Я его не виню, – сказал Дмитрий. – Как подумаешь: каждую минуту могут татары навалиться, сёлы пожечь, отчины разорить, все княжество вытоптать, – не могу винить.

– Ты миролюбием дивен, Дмитрий. Всякому тати рад гривну дати.

Дмитрий настаивал на своем:

– Сердцем он всегда с нами. Но паче себя свою землю пасти обязан.

Бренко подхватил слова Дмитрия:

– Да и многострадальна Рязань. Нет на Руси другого города, где столько русской крови пролито. Ноне молодые забывать о том стали. Придет время – споманут.

– Вот то и дивно, – заметил Боброк. – Сколько одной родни у Ольга татарами выбито, а он с ними якшается.

– А может, он ждет своего часу? – спросила княгиня.

– Князь не старица, Овдогья Дмитриевна, – ответил ей Владимир Серпуховской, – он не ждать, а ковать свой час должен. Вот как мы куем с братом.

И Дмитрий погладил руку брата:

– Спасибо, Владимир.

Отроки бесшумно служили им, обирали стол от костей, сменяли блюда.

Дмитрий ел много, сосредоточенно, а пил мало. Остальные же и Евдокия Дмитриевна хлебнули меда всласть. По телу бродило блаженное тепло, и глаза веселели.

Евдокия, нечаянно глянув в окно, воскликнула:

– Глянь-кась!

Улица взбухла от весенней влаги и от недавних дождей. Люди ходили по узким деревянным мосткам, насланным вблизи стен. На мостках стоял татарин Бурхан.

Его знали все. Отец его в Суздале был баскаком<sup>13</sup>, собирал хану дань. Не Суздальский князь, а баскак был хозяином в городе. Но когда Иван Калита съездил в Орду и выговорил у хана право самому собирать для Орды дань, нечего стало делать баскакам в русских городах. Баскак выехал из Суздаля. Суетный торговый московский быт пришелся ему по нраву. Здесь ордынские товары имели спрос. Когда баскак умер, сын его Бурхан вошел к Мамаю в любовь и прибыл в Москву присматривать за ее делами. Пятый год тут сидит, торгует и смотрит – спесивый, наглый.

Татарин стоял на мостках, глядя на город. Тканый полосатый, как ковер, халат сверкал на солнце. Завитая пышными свитками розовая чалма поднималась над мурзой, как купол. На сапогах из зеленого сафьяна торчали задранные вверх острые носы.

Бурхан торжественно стоял, глядя на острые верха теремов, на маковцы храмов, и, поигрывая плотной плеткой, думал, что пора бы вместо крестов поставить мусульманские полумесяцы на остриях московских церквей.

Народ шел и, обходя татарина, соступал с мостков в грязь, тотчас увязая в ней по щиколотку; идя по грязи, люди кланялись мордастому Бурхану. И, лишь далеко обойдя, снова вылезали на доски.

---

<sup>13</sup> *Баскак* – ханский наместник в княжествах Руси с посольскими полномочиями, сборщик податей. Батый поставил наместников и властителей по всем городам Руси. Около 1262 г. баскаки были повсеместно выгнаны князьями за насилия и злоупотребления при сборе дани. К концу XIII в. сбор дани перешел в руки князей.

– Ишь ты! – кивнул Дмитрий Бренку.

– Ужо! – ответил Бренко и пошептал отроку: – Глянь, нет ли в гриднице Гриши Капустина. И каков?

И отрок, словно на крыльях, кинулся по переходам вниз.

Еще охмелевший Бренко не успел отойти от двери, а отрок уже возвратился.

– Ну?

– Сюда привезь, Михаил Ондреич?

– А он где?

– На лестнице.

– Я сам.

Бренко вышел и увидел детину ростом выше себя на голову, а шириною плеч вровень с шириной лестницы.

Пригнув низколобую голову, Гриша из-под свисших русых волос глядел на боярина. Молодая борода нежно курчавилась, а усы ласково улыбались Бренку.

– Ты, Гриша, чего там деял?

– На медок глядел, Михайло Ондреич.

– Прикоснулся?

– Одну малость только...

– А мощен ли?

– Мощь от влаги не оскудевает.

– Там, внизу на мостовинке, Бурхан проходу мешает. Подь пройдишь.

– А ежели я об него споткнусь, Михайло Ондреич?

– Подь, подь!

– Но штоб опосля обиды не было, боярин...

– Помилуй бог!

Бренко, вернувшись, черпнул в ковшик меду и сдул пчелиное крылышко; со дна всплыл золотистый листок хмеля, Бренко опять подул. А Дмитрий, Евдокия и захмелевшие гости приникли к окну.

Гриша вышел со двора и вдалеке перешел улицу.

Широко расставив руки, на тяжелых неповоротливых ногах, не спеша, пошел он по мосткам к татарину.

А мурзе нравилось на город глядеть, нравилось от прохожих почет иметь. Завидев Гришу, Бурхан слегка скосил на него глаз и отвернулся: не мурзе же сторониться, уступать дорогу.

– Ну-кася! – сказал Гриша.

– Чего ну-кася? – покосился мурза.

– Посторонись-кося.

– Что-что?

– Дай-кася пройтись.

Бурхан разгневался:

– Обезумел, холоп?

– Чей холоп?

И Гриша слегка посторонил татарина.... Чалма развилась змеей, Бурхан опрокинулся и, перевернувшись, влип в грязь посреди дороги.

Баскак не успел еще вспомнить подходящих русских слов, как Гриша спрыгнул к нему в грязь, вывернул плетъ из Бурхановых рук, оседлал баскакову шею и потыкал мурзу всем лицом по уши в добрую дорожную грязь.

Гриша обтряхнул колени, вспрыгнул на мостки и пошел в слободы.



Мурза еще не выплюнул глины, залепившей рот, а уж из великокняжеского терема выбежали пристава поднимать ордынского гостя:

– Батюшка, Бурхан Агуреевич, как же ж это ты обступился? Государь узнает, тужить будет!

Но Бурхан только плевал.

Повели гостя под руки, участливо отирали с лица грязь, норовя нажать посильнее.

Дома Бурхан не успел халата сменить, как прибыл боярин от Дмитрия:

– Очень справляется государь об твоём здоровье, Бурхан Агуреевич.

И пока Бурхан думал, как ему отвечать, боярин развязал шелковый узелок и вынул витой серебряный перстень с капелькой бирюзы, зажатой завитком серебра. Голос боярина стал строг и громок:

– Жалует тебя государь князь Дмитрий Иванович всяя Руси сим жуковиньем<sup>14</sup>. – И, поклонившись, ласково договорил: – На память.

Евдокия сошла во двор глянуть, как сохнут сундуки.

На ярком весеннем солнце были развешаны залежавшиеся в кладовой шубы, меха, тканые и парчовые платья, охабни, сарафаны; ткани, свезенные от немецких и фряжских ткачей, от византийских мастеров из Царьграда; шелка из Орды, из Ирана; меха с глухих лесных промыслов. Все было раскрыто навстречу светлому весеннему ветру. Лишь бобры проветривались в тени, чтобы не порыжели от яркого света. В воздухе остро пахло перцовыми и лавровыми листьями, которыми перестилали вещи в сундуках от моли.

А окованные узорными скобами и кружевными железами расписные сундуки стояли среди двора, разинув алые и белые пасти.

Евдокия стояла среди разворошенных теплых своих богатств. Скворцы неистово свистели и трещали везде. Медок тихо отступал от сердца. Сыновья – Василий и Юрий – шумно играли на влажной земле, втыкали в землю палочки и метились в них из деревянных луков. Мамка воткнула в землю обвязанную розовой лентой щепку:

– Ну-кась, князюшко, стрели татар Бурхана!

Евдокия резко обернулась к ней:

– Чего надумала?

И взглянула так, что мамка стремительно выхватила из-под стрелы щепку и скрыла в сарафан.

– Ой, нету ее. И не было!

Трехлетний Юрий завизжал. Евдокия ласково вдавила в свои колени его мордочку. Юрий на три года отставал от брата, но тянулся, не желая ни в чем ему уступать, и не хуже Василия попадал в цель. Он был в отца – черен и смугл.

«В батю!» – думала мать, прижимая Юрия.

В это время Евдокия узнала, что из монастыря заехала к княгине жена князя Боброка, Анна. А тут еще пришла во двор жена Бренка – боярыне было любопытно глянуть на великокняжеское добро.

– Сушишь, Евдокия княж Дмитриевна?

– На то и весна.

Бренкова медленно опустила глаза:

– Только ли на то, не знаю.

– А что ж еще?

– Не одна рухлядь залеживается, а ведь и бабы тоже.

Евдокия засмеялась:

---

<sup>14</sup> Жуковинье (жуковина) – перстень со щитком из камня для печати.

– Ну, твой Михайло Ондреич залежаться не даст.

– А мне русые не по душе. Размазываются, как тесто!

– Пойдем наверх. Там княгиня Анна; за мужем заехала.

Она пошла впереди гостыи, круглоплечая, плотная, упруго ступая вверх по дубовой лестнице.

– У меня эту зиму меды удались. Отведай.

Запыхавшаяся боярыня едва успела сказать, как и у нее хорошо настоялся мед:

– На укропе. Духовито, крепко.

– А варила?

– Варила, варила...

Крепко и ароматно пахло в палатах древесной смолой, травами, корешками, развешанными по углам, растыканными позади икон.

Женщины разговаривали. У Бренковой новостей было много, но строгая лицом Анна неодобрительно косилась на нее.

Евдокия подозвала девушку:

– Там скоморохов нет ли?

Анна перебила ее:

– Нет, Овдотьюшка, мне время домой.

– Да князь Дмитрий Михайлович наверху спит. Обожди, как встанет.

А девушка радостно говорила:

– С утра трое ростовских внизу сидят. Да Тимоша коломенский с медведем на дворе стоит.

– Удумала! Медведя сюда весть! Песельников покличь.

Песельники вошли, поигрывая и напевая еще на лестнице. Принялись низко кланяться:

– Матушке княгине Евдокие Митриевне. Дай тебе бог здравствовать и красоваться, многие лета с красным солнушком миловаться! Заводи, Олеша, переладец!

Они гудели, приплясывали. Беспечная песня плясала вместе с ними, лапотки поскрипывали. Девушки, толпясь в дверях, пересмеивались, переталкивались локотками.

Старший из скоморохов, все еще разводя руками, остановился среди горницы и запел:

Славны богатыри во Киеви,  
Славны звоны в Москве-городе,  
Сладки поцелуи коломенские,  
Широки подолы рязанские,  
Лубяные сарафаны во Суждали,  
Люто любви любки белевские,  
Белопузы вдовки литовские...

Вдруг осекся и принялся низко кланяться, а за ним и остальные: в дверях стоял князь Боброк, еще румяный от сна.

– А побывальщины петь горазд? – спросил князь старшего.

– Пою, господине.

– Перейми новую. Писцы те скажут. Она ими списана.

Старший кинулся было к дверям, писцам внимать, но Боброк остановил:

– Нет, уж вы сперва княгинь потешьте.

И скоморохи снова загудели в дудки, задвигались.

Когда песни смолкли и женщины ушли к вечерне, скоморохи сели внизу на широкой скамье, и писец внятно принялся читать им слова побывальщины:

Пред собой ты дверь пятой распахивай,  
С головы шелома ты не сбрасывай...

Старший, грозя пальцем, перебивал писца:

– Погодь, погодь! Как тут, значит? Это татарин посылает ко Владимиру посла и наказывает...

– Пред собой ты дверь пятой распахивай...

– Уразумел. Не кланяйся, дескать, русскому князю. Понимай об себе.

И писец волновался, боясь ошибиться, боясь, что певец поймет его неправильно.

А когда по песне завязался бой, писец начал подозрительно переспрашивать певца:

– Разумеешь? Надобно петь так, чтоб от татаровой пух летел.

– Вроде как Бурхана нонече...

– Тсс... – покосился писец. – Об этом только Бурхан знает. Никто не видал, никто не слышал.

– А слух как удержишь? – спросил младший.

– А слух пушай себе идет. Туда ему и дорога.

Когда вся побывальщина перешла с бумаги на память, старший ее запел. Старинный лад ожил, наполнился новым смыслом, и певец взволновался: впервые, хоть в песне, он бил татар.

И он понес ее на многолюдный город Москву.

А Боброк стоял позади Дмитрия в церкви Спасского монастыря и, слушая вечерню, что-то шептал свое, не похожее на мирный поток молитв.

## Глава 4. Кремль

Ставили башню скоро. Скоро умели тогда строить. Деревянные церкви оттого и назывались обыденными, что ставили их, отделывали и освящали обыденкой, дружно, в один день. Таковы были русские плотники. Каменную Михайловскую церковь в Москве сложили за один год и считали время это долгим; монастырскую Михайловскую церковь в Чудове тоже сложили в один год. Таковы были русские каменщики. Но Бог имел время ждать, а враги могли и не пождать окончания московских стен, посему башню положено было соорудить в течение ста дней.

Возле стены, напротив тайника, сколотили деревянный вертеп и разместили там на жилье каменщиков. Тесно было и темно. Потолка едва не касались теменем, а Кирилл и касался. Окна прорубать почли излишним: «Не хоромы, чать, а людская!»

Дверь держали открытой, чтоб вонь спускать. Кормили скудно – либо Москва бережлива, либо дворский боярин скареден.

Но Алис не видел ни мрака, ни грязи, ни худосочия своей дружины, ни сурового вида Кириллова. Он вознесся наверх кладки и вместе с ней восходил к хмурому московскому небу.

Кремль окружал его. Жались друг к другу строения, зеленели сады и дворы. Темнел, хотя и поредел изрядно, бор, спускаясь к Боровицким воротам. Церковь Спаса стояла толстая, как дородная боярыня. Золотой маковец ее упирался в небо, словно воинский шлем. Чудов, весь деревянный, отстраивался. Великий князь Дмитрий чтит этот монастырь особо – здесь похоронили Алексея, княжеского наставника. Высился над строениями и Архангельский собор, но все вокруг было бревенчато, низменно, и Алис не мог понять красоту Кремля, хотя русские радовались ей. Он предпочел бы плоскую мощь каменных стен, восходящих одна над другой, он скупо украсил бы их, чтобы каждая складка завитка четко выступала из камня, как ящерица на песке пустынь. А есть ведь добрый камень. Он и желтоват, и розов; не единым лесом богата Москва, но и каменными залежами.

– Ты мрачен и волосат, Кирилл. А о чем печалуешься? Строим, как в Цареграде; крепко, как из гранита. Дружина понятлива. Строим мы по своему замыслению. Чего же ты?

– Взгляни, – строим сторожню от битв, от врага, а сами, как враги, окружены и заперты. Я хотел по Москве идти, – мне сказали: назад. Я хотел со стены с человеком словом перекинуться, – мне велено было слезть. Я хотел в церкву пойти, на молеельщиц глянуть, – ан пристав злым глазом своим скоился на меч и велел в доме своем Бога славить. Тяжко мне.

– Сосредоточь свою мысль на зодчестве; думай о башне, говори с ней. Она растет. Нас не в рабство ввергли, но только торопят. Нельзя ввергнуть зодчего в рабство, давая ему известь и камень, давая ему право строить по своему мечтанию.

– А я не могу мечтать под плетью и оттого скорбен теперь. Не суди меня, но скорбен я. – И шепотом добавил: – Скорбен вельми, но и вельми гневен.

– Ты всю жизнь не можешь унять своего сердца. Оно тебя ведет, а его надо подчинить себе. Только тогда станешь мастером.

– Слушаю тебя. Но мыслю инако.

– Мыслью твоей не владею, Кирилл. А хотел бы перевернуть ее!

– Хотел бы и я, но каждый новый камень возвращает мысль вспять: раб, раб, раб... Лучше б было сидеть в Рузе. Идя сюда, возмечтал. Лучше не мечтать совсем, нежели, возмечтав, от мечты отречься.

Каменщиков дали Алису мало. Все они тоже были княжеские, тоже опасались Можая, надеялись усердием смягчить свою прежнюю жизнь.

Вдоль Москвы-реки, на том берегу, и на плотях постоянно толпились люди: сладко смотреть, как возрастает строение, будто сам кладешь камень на камень. Иные, забредя в Москву

издалека, просиживали целые дни, глядя на кладку. Иные кричали каменщикам, советовали. Но окрик сторожей сбивал их слова на лету, как влет пронзает стрела птицу:

– Эй, лапоть! Держи язык за зубами!

– Легко сказать «держи», ан у слова-то хвоста нету. Ан оно вить не воробей – вылетит, не пумаешь.

– Но-но!

– А чего это молчать?

– А то, что слово – солома, загорится – не зальешь.

– Да ведь стрельня ж не соломляная!

– Но-но! Сказано: держи язык!

– А он у меня слизкой, поди подяжи!

– Эй ты, якаль окской, говори да помалкивай.

– Нам язык Господом не для молчания даден.

– Ишь ты Игорий-богослов. Монах, что ли ча?

– А ты не рязанской ли, господин пристав?

– Откули ча спознал?

– Оттули ча, што ты – чакаль.

– Ох, батюшки, со смеху помереть...

А каменщики молчали.

Дмитрий уезжал в волости, уезжал на охоту, возвращался, уезжал снова.

Стены поднимались неуклонно, скоро, как было велено.

Дмитрий пришел посмотреть стройку. С ним был Боброк. Никто не сопровождал их – люди остались за горожей, окружавшей стройку.

– Как Бог пособляет, мастер?

– Не жалуюсь на Бога, кир.

– А каков его Бог-то? – поинтересовался Дмитрий у Боброка.

– Магомедданский. Общий с татарами.

– Значит, кому ковы куем, того и в ковачи берем? – засмеялся Дмитрий.

Алис не понял их разговора, но почел смех их за добрый знак.

Он попросил:

– Дружина жалобится – в город не дают сходить. Объясняю им: оттого, что торопят. Пойдете, говорю, когда отстроимся.

– А зачем ходить? – нахмурился Дмитрий.

– Слово как сокол – ладит на голубиц низринуться. Когда ж сидят одни соколы, некого им терзать. Слово ушей ищет, чтобы в них гнездо свить.

– Во многоглаголении несть спасения! – ответил Дмитрий. – Творите свой труд в молчании, тем спасетесь.

– Благодарю, кир Дмитрий Иванович! – поклонился Алис.

Идя дальше, сопровождаемый Боброком и Алисом, Дмитрий прошел близко от отшатнувшегося и поникшего в поклоне Кирилла.

– Многоволос, яко зверь лесной! – сказал Дмитрий.

Боброк замялся, не зная, переводить ли и теперь княжеское слово на греческий. Он промолчал, а Дмитрий обернулся к Боброку:

– Благодарствую тя, Дмитрий Михайлович! Вижу, помнишь наш уговор о немоте каменщиковой.

– Каменная немота, княже! – засмеялся Боброк, недоверчиво оглянувшись на Кирилла; но тот продолжал стоять, поникнув в поклоне.

Дмитрий молча вглядывался в крепление стен. Вникал, в меру ли прокален, не крошится ли кирпич. Было такое в Коломне – строили, строили каменную церковь во имя Покрова Бого-

родицы, а едва каменщики успели с лесов сойти, как стены обрушились. Кирпич в нижних рядах не выдержал тяжести и пополз, как сырой песок.

С высоты башни Дмитрий оглядел Москву. Все Заречье тонуло в садах. Из зелени кое-где высились кровли теремов. Изредка поднимались чешуйчатые маковицы церквей. Слева сиял позолоченный верх Параскевы Пятницы. Это рязанский купец Игнат Титов поставил в благодарность Москве за приют. Сбежал в Москву, – беспокойно купцам на Рязани, того и гляди, татары нагрянут на рундуки. Со всем имуществом, с людьми сюда приехал. Богатые жильцы Москве не помеха. Да и бедного человека Москва привечает: пусть поселяются, новый человек – новый данник. А земли без людей дани в казну не вносят. Тем и богатеет Москва, что людьми расширяется. Иные князья завидовали Дмитрию:

– Ты, князь, привораживаешь. Али Боброк за тебя? Чтут Боброка за волшебника, ибо много учен и многое видел.

«С людьми надо быть ласковым, и люди к тебе придут. Лучше на гривне полушку простить, чем, полушку добывая, человека упустить, а с ним вместе и гривну».

Дмитрий прочно помнил заветы своих дедов.

Он посмотрел на Кремль. У отца Кремль был весь деревянный, местами лес даже крошился. Спасибо пожару – спалил все стены, как короб берестяной. Тогда и надумали больше деревянных стен не ставить. Высокие стены возвели. Кое-где в два, а то и в три ряда, стена над стеной, как сосновая шишка. Ров углубили, дно все вычистили. В иных городах кремли круглые поставлены либо многоугольные, а Московский сложили о четырех углах. Но вышел не ларцем четырехгранным, а как бы стремянем, а лучше сказать – топором. И лезвие топора обращено к Орде, а западу – обушок.

Строение к строению, каждое расписано, чем-нибудь изукрашено, в каждое вложено человеческая любовь к красоте, каждое обжито человеческими горестями и радостями, каждое Дмитрию ведомо, построено на его глазах, кое-где его тщанием, по его совету, по его слову. Не все так вышло, как думалось: то плотники норовили на свой лад поиначить, то каменщики вдруг замыслили по-своему повернуть; многое же выросло будто само собой – красиво, а и в мыслях у князя не было такое соорудить. Теперь он сам видит – красиво: словно подарил кто-нибудь. Там церковь, не похожая ни на одну из прежних, а то вот терем, странный и милый, высится в тени листвы. Девушки либо боярыни – стоят на траве: хороши их яркие сарафаны на светлой зелени.

Спустившись с башни, Дмитрий, как в тесто, сунул палец в бочку с замесом:

– Гож ли будет сторожню держать?

– О! Века продержит! – восхитился Алис. Многих он видывал владык на свете и императора Византии видел, но тот до ремесла каменщицкого не снизошел, пальца в замес не запустил. Можно работать для Дмитрия. Зря хмурится Кирилл.

Дмитрию принесли светильники, и в полыхающем, живом их свете он полез в подземелье.

Оттуда пахнуло на него не то кошачьим калом, не то разрытой могилой. Сырая земля оплывала, сопротивлялась землекопам, внедрявшимся в нее, доставалось и каменщикам, сводившим над ходом своды.

Дожди хлестали строителей, солнце пекло, ветры сушили лица. А князь торопил рыть, рыть, рыть. Теперь Дмитрий ошаривал каждую щель: добротн ли, устоит ли, выдержит ли? Можно ли почесть этот важнейший кусок княжества завершенным навеки?

Дмитрий ушел с башни удовлетворенный. Зашел в вертеп и смотрел еду.

– Плоха варница. От такого вара не жди товара.

– Надо людей тешить, тогда и люди утешут тя.

– Я присмотрю за тем, – обещал Боброк.

А под башней по-прежнему, как кроты, врывались в земные глубины люди, расширяли старый ход, крепили его камнем взамен слизкого гнилого дубового перекрытия.



Долго рыли.

Каждый усердие свое показал. Каждый сердце свое раскрыл.

За три месяца кончили Тайницкую башню. Осталось только попам освятить ее.

Дмитрий велел служить молебен торжественно. Созвали сродников княжеских, бояр, весь двор Дмитриев. И многие дальние князья приехали – не каждый день в Москве башни святят! Да уж и наслышались все о необыкновенном умении княжеских каменщиков. Молва, как ветер, – незрима глазу, но пролетает стремительно – каждого коснется, каждого взбодрит.

Но строителей не допустили слушать молебен, и святая вода с кропила ни единой каплей не окропила их почернелых лиц.

Их послали в город, имени коего никто не слыхивал до того. Там обещали им полный и долгий отдых.

Провожал их Боброк.

Алис стоял, запрокинув голову, и смотрел, как над завершенной башней поднимали кованного из железа позолоченного льва.

Боброк неслышно остановился позади Алиса и смотрел на него. Когда зодчий обернулся и склонился в приветствии, униженно прижав к сердцу руку, Боброк спросил:

– Ну как, доволен сооружением?

– Лучше всего, что строил раньше. Цареграду не оставил того, что донес вам.

– Так и надлежит рабу радеть о господине.

– Именно так.

– И князь велел сказать, что мастер ты добрый, что заслужил ты отдых. Он тебя наградит.

Алис разогнулся, надумав сказать слова благодарствия, но встретил пристальный и недобрый взгляд Боброка. И слово умерло прежде, чем родилось: что-то страшное померещилось Алису... Но он тотчас подумал о похвале, присланной ему от князя, о милости, обещанной ему, и улыбнулся, глядя в глаза Боброку.

Дмитрий Михайлович погладил ему плечо, снял с пальца перстень и надел его на перст Алиса:

– А это тебе я дарю раньше дара Дмитриева.

И снова Алис кланялся, прощаясь с милостивым князем.

Их вели по Москве с почестью. Конные ехали по сторонам, Москва смотрела на них, обряженных в чистые новые одежды. Им завидовали:

– Кончили сторожню. Теперь наградят, жизнь обеспечат.

Стража следила, чтобы народ не напирал, не теснил, не беспокоил задних. Вели по Москве неспешно, дали вдосталь наглядеться на деревянный, тесный, сырой, такой заманчивый город, на который столько смотрели, бывало, с высоты своего труда, в котором столько скопилось у каждого из них желаний и ожиданий. И, не коснувшись города, ныне они уходят прочь.

Дороги по Руси идут реками либо лесами. Лесами пошли строители Тайницкой башни: видно, князь торопился довести их до отдыха. Темнее и глуше вставал над ними лес.

Кирилл подумал, что дорога эта идет к Воре-реке; значит – на Троицкий монастырь.

«Уж не монастырь ли Сергию будем строить?»

Но воины остановились и окружили каменщиков. Кто-то вскрикнул. Кто-то из конников взмахнул клинком. Брызнула кровь.

Кирилл, изогнувшись, проскочил под брюхом коня и ринулся в можжевель. Всадник, вскинув коня на дыбы, круто повернулся следом за ним. Пешему в лесу бежать легче. Конного всякий сук задевает. А чтобы спешиться, тоже срок нужен.

Великий князь Московский не хотел, чтобы враг распознал о тайнах Тайницкой башни, и, чтобы и впредь тайна сия не стала явной, положил своих мастеров во мхах лесных на вечные времена.

## Глава 5. Сетунь

Выехали в светлое утро, на заре, чтоб прежде зноя достичь лесов. Завершение башни праздновали большой охотой. Рано выехали, а город уже встал, – прослышал: «Дмитрий на утеху собирается!»

Кто в церковь шел, кто за припасами на Торжок.

Москва стояла свежая в том году, вся заново отстроенная после большого пожара. Ныне старые срубы – в диковину, а новые построены многообразно. Не то Рязань али Нижний Новгород и даже не Переяславль-Залесский. Те и из пепелища встают прежними: там житие многовековое, коренное, строение единообразное; там в городах и селах блюдетсЯ обычай дедовский – строят дом по дому, венец по венцу, по-дедовскому.

А Москва встала на перепутье. Народ ее прибывает с востока, а убывает к северу; с запада едут на полудень, с Варяжского моря к морю Хвалынскому, а от Сурожских берегов к Беломорью. Иные проедут, а иные и останются: видят – град пуст, спален и выморочен, люди нужны. Оседают псковичи; селятся новгородцы; бегут сюда рязанские купцы, от татар подалее; греческие мастера прибывают со своими затеями; гинуэзцы ищут у князя чести; литовцы просят пристанища, дабы веру от Ольгердова латынства упasti; киевляне со своими домочадцами перебираются от оскудения отчих мест. Разнолико московское население, и каждому сладостно в доме своем подобие родного гнезда иметь.

Так возрастают на пепле дома: то приземистые, толстостенные, коренастые, то высокие, светлые, расписные, а то встретятся и такие, что подобны башням – узкие и островерхие. Иные дома тыном огорожены, другие просты, доступны всякому и гостеприимны. И сердцу радостно: после каждой беды Москва восстает снова, но обширнее и краше. Ни огонь, ни мор, ни иноплеменный меч посечь и пожечь ее не может и не истребит никогда, доколе будет русская речь объединять многоязыкую Русь. И слово-то «Москва» значит «медведица», – одолей-ка ее, поди.

Дмитрий едет на пегом коне. Не по обычаю, – на белом бы ехать князю, да резв пегий конь. А на охоте резвость – первая нужда.

Шапка на ДмитриИ, опушенная голубой лисой, выткана в Орде, Мамаевых баб рукоделье. Шапка та округляет лицо, оставляет весь лик открытым и на быстром ходу коня с головы не спадает.

И сшитый искусным мастером кафтан прост не по-великокняжески, а ткань драгоценная, фряжская. И мудрено понять, где на ДмитриИ сверкает золото – а сверкает! – кольца ли, перстни ли на перстах, пояс ли, порты ли расшиты.

Ехать тесно: не дюже широки улицы. Едут по двое, мало кто по трое. Поезд охотничий, как пояс, растянулся.

Едет худощавый да широкобродый Серпуховской князь Владимир Андреевич. Его одежда побогаче справлена; конь весь камкой покрыт, аж масти не видно.

А того богаче ДмитриИ Боброк. Седина уж в бороду ударила, а видать воина: ладно на коне сидит! Не едет – пляшет над людьми московскими. Ведь если бы с него драгоценные уборы совлечь, страшно было бы на него глянуть – все тело в боях истыкано, многие раны так и не заживают. И чье только железо об него не звякало – и татарское, и литовское, и болгарское, и нижегородское, и черемисское, и не перечесть всех, а он по всем прошел, – видно, не писано ему порубленным быть, да и благодарение за то Богу: хоть и Серпуховскому князю служит, а стоит за Москву. Такого богатыря в прежние б досельные годы в песнях славили, как Илью Муромца, как Добрыню бы славили, аще не токмо мечом, а и умом горазд. Да и властен: на Дмитриевой сестре женат.

Не то Бренко. Этого всякий ведаёт: к Дмитрию близок. На коне, как на бревне, сидит – крепко, не смахнешь, не сдвинешь, а весь пригнулся, поник. Но у князя в чести, ближний советник, неразлучник. Да и пышность его нескладна, дорогое все на нем, а будто с чужого плеча, будто Дмитриево донашивает. А вельми пытлив; ходит везде смотреть – обряд ли народом какой справляется, церковная ли служба, на освящении храма, так ли гулянье какое – везде поспеет.

Тарусский князь едет на грача похож. Сам черняв и одет черно, не цветасто, не радостно. Туча хмурая, а не князь светлый. И конь под ним вороной, одна звезда во лбу белая, да и на ту синие бахмары с оголовья спущены. И одежда блистает у князя серебром, а не золотом. Нешто нет средств у тарусян своего князя срядить по достоинству? Книжен, учен, многоязычен, а наряда русского не понимает.

«Мнихом бы, чернецом бы тебе, схимником бы, – справный бы игумен вышел!»

То ли дело молодой Иван Белозерский едет! Светел и одеждой, и ликом, и оружием, и с Дмитрием, как брат, схож. И ланиты, как утреннее солнце сквозь белый туман, разгораются, ежели девичий взгляд переймут. А девкам на других и смотреть не любо, коли этот здесь. Не велик конек у него, а прыток – головкой помахивает, удила перегрызть норовит. Такому детине мелковат конь.

Не весьма на охотников надивуешься – каждому надо почесть воздать, поклониться поясню. Поднять глаза – за дерзость почтут.

Низко кланяется Москва охоте Дмитриевой, что самому великому князю, что последнему псарю: вон и у пса ошейник позолоченный, стало быть, пес тот богаче иного купца, а купцу ж почесть воздается!

Едут – и дивуется ими Москва, и досадно, если свой боярин хуже серпуховского, тарусского или еще какого одет. А пересудов будет полная калита: не каждый день, да и не всякий год такое случается. То проедут, не поспеешь взглянуть, а с чужих слов – не со своих глаз разумеешь. А то и увидишь, да не разглядишь.

Сей раз не столь людно на улицах, – всех видать. Зрелищен сей год – по зиме Алексеевы похороны глядели. Да там толкучно было, не пробиться. Сам цареградский митрополит погребал, одних епископов со всех городов сколь понаехало! Звон по всей Руси тоскливый стоял. А тут – иное.

Едет Дмитрий через весь свой город. Мимо садов, где зелень густа и тяжела от росы. Мимо стен, забрызганных внизу грязью, но еще слезящихся смолой, еще розоватых, а не серых, как было на Москве до пожара. Куда ни глянь – рубят плотнические топоры; готовые срубы стоят, – ждут, чтоб на место сдвинули. Щепа подворачивается под копыта, глушит конскую поступь. Вон, видно, клин заколачивают: двое обухами по дубовому срубу молотят, а хозяйка внизу щепу собирает, новую печь надумала испробовать. Девушка за тыном поет, – не время бы: в церкви служба не отошла, да и незачем в эту рань петь, жалостливое сердце народу высказывать. А голос люб:

У колодезя холодного,  
У студеного ключа гремучего  
Красна девушка воду черпала,  
Воду черпала, беды не чаяла.

Белозерский скосил глаз: голос люб.

Как наехали злы татарева,  
Полонили красну девушку.  
Полонили, замуж выдали

### За немилого татарина...

Смело поет. Красоту сознает, значит. Заливается, высоко берет.

Калитка открыта. Вот она стоит! Обернулась. Господи боже мой! Нет у нее лица!

– Дома сего, Михаил Ондреич, не ведаешь?

– Ведаю, – говорит Бренко. – Валуя дом. Девка та за тыном из-под Рязани взята. Ей татары смолой аль кипятком все тело изожгли. Один глаз остался. А голос – сам слышал. От всей редкостной красоты голос лишь уцелел. Вот и поет она. Пуцай поет.

– То благо, – отозвался Дмитрий и задумался.

Так выезжают они за посады. Сразу начинаются холмы. За Москвой-рекой курится марево. Стрекогут кузнечики в траве. Яркие крылья бабочек в чистом утреннем свете. Как в степи! Но простора нет. Острые шеломы бора высятся впереди в сивой дымке. Сено лежит еще в валах, досыхает. Кое-где уже стожат. Двое крестьян в белых длинных рубахах топчутся наверху стога, уминают, пока снизу подают охапки подвезенных копен. Кони оборачиваются и ржут. На соловой крестьянской кобылке сидит русоволосый парень. Его посадка легка и надменна, и это не понравилось Тарусскому. Насмешливо поглядывая на всадника, он говорит Боброку:

– Инии форозе, воспад на фарь, мнят ся стратигами!<sup>15</sup>

– Хороший седок Руси надобен, у врага заклятого паче наших наездников, – отвечает Боброк, и Тарусский с сомнением передергивает плечом.

Крестьяне скатываются с возов, со стогов, кидаются к дороге, чтоб, хоть стоя на коленях или уткнувшись в землю лицом, прослышать над собой топот Дмитриевых коней, уловить звон оружия, слово или хотя бы невнятный говор.

Княжеские псы волочатся на цепях, высовывают языки, покрытые слюной, пока псарева плеть не свистнет над ушами.

Задолго до полудня въехали в лес. Сперва шел вековой бор. Земля усыпана бурым игольником, иссохшей хвоей, устлана, как плесенью, глубоким мхом. Охота потонула в тишине и покое.

– Здесь бы монастырь основать! Экой мир! – воскликнул Бренко.

– Ладаном тут и так пахнет, а чернецам мягкая земля соблазнительна, – она не смиряет, а распаляет! – сказал Белозерский.

Дмитрий неодобрительно оглянулся на него:

– О чернецах игуменское дело пещись; наше дело – об обителях. Здесь нет воды и место гладко: не выдержать обороны на сем месте. Монастырь – есть кремль Господень. А хорош кремль, ежели он и нам, мирянам, сгоден. Затем и монастыри создаются, и вера блюдетя. Вникни, княже. В чернецы многие воины сходят; отпускаем в монастырь, а не в гроб.

Подумывали здесь зной перестоять, но не нашлось ни ручья, ни родника. А без воды пешему стан не в стан, а конному и подавно.

Дальше пошел смешанный лес. Стало между деревьями просвечивать. Раскрылось мелколесье на старом пале. Звякнул невдалеке колоколец. Собаки потянули в ту сторону морды: стадо почуяли.

Вскоре выехали на перелесье. Поджарые овцы стояли у опушки на полдне. Мотая головами, перебегая от кучи в кучу, мучались от оводов. Залаляли псы. Запахло теплой шерстью, овечьим потом. Заблеяла ярочка, подняв длинноглазую морду. В нерешительности стоял молодой пастух в рваной шубе, накинутой на рубаху, с длинным, как змея, бичом в руке: падать ли на колени, бежать ли к гуртоправу, кинуться ли в лес от беды? Кто ж знает? Всякие воинства на

---

<sup>15</sup> Некоторые всадники, взобравшись на коня, мнят себя полководцами (смесь греческого и славянского).

Москву ополчаются. Эти чьи? Шарили тут в былые годы литовцы Ольгердовы, хватали овец. Как бы и с этими беды не нажить!

– Чей скот? – крикнул Дмитрий, и голос, выросший в крепких боях, еще молодой, окладистый, рокотно прокатился по лесам, и леса долго, словно дым, пропускали его сквозь себя.

– Великого князя Московского и всея Руси Дмитрия Ивановича!

– А велико стадо?

– Полторы тыщи голов.

– А меня знаешь?

– Дозволь гуртоправа кликнуть, он бывалый.

– Зови, отроче!

Пастушок кинулся прытко. Ближние овцы шарахнулись в глубь леса, где в сени таилась главная часть стада. И отрок тотчас исчез в ветвях, исчезли и псы, и лишь колокольчик жожака колотился и щелкал невдалеке, как птица, прихлопнутая силком.

Прикрывая ладонью чело, высоко запрокинув голову, чтобы видеть из-под гноящихся век, опираясь на свой длинный, будто патриарший, посох, мелко переступая босыми ногами, торопился к Дмитрию из лесу старец. Рубище его было серо, а борода узка, длинна и седа. Но кожа лица, обветренная ли загаром, опаленная ли старостью, темнела, как кора, как лик угодника суздальского письма, хотя подуло от него не кипарисом, а горькой вонью овчины. Шерсть и на сермяге налипла, – видно, скинул тулуп, чтоб скорей дойти. И как бы поддерживая его, с обеих сторон, прислонясь к узким бедрам его, шли громадные густошерстные псы.

Низко, в пояс, поклонился, сисясь разглядеть супротив солнца. Но солнце било в лицо, и хилая рука старика напрасно тщила притенить взгляд.

– Чаю, меня кличешь?

– А кто ты, отче?

– Пастырь.

– Хороша ль паствина?

– Обильна, сыне.

– Вода здесь близко?

– Доброе место. Пожалуйте, бояре.

И так же трусцой старик повел всадников в кустарники.

Вошли между орешниками на бугорок и внизу, в овраге, в ольшанике, увидели выющую струю светлой речки.

Одиночные огромные ели шатрами нависали над мхом. Там и разостлали ковры для покоя. И прежде чем торопливые рынды успели поймать золоченое стремя, Дмитрий соскочил с седла и пошел к реке. На широком камне стал он на колени и пил пригоршнями воду, хотя рында уже стоял позади с узорным чеканным ковшом и полотенцем, перекинутым через руку.

Гуртоправ, отпугнув посохом своих овчарок, допытывался: кто в сей дружине старшой, и кто он званием, и откуда, и как имя ему. Но ответили ему, лишь когда Дмитрий прошел на ковры под ель.

– Сие есть Дмитрий Иванович.

Старик оттолкнул воинов и повалился перед Дмитрием.

– Княже! Не очима, нутром моим узреть ты должен. И не узрел! Видишь: ветх, истлел, скот пасу – держу посох, а не копие.

– А и копие держивал?

– Многожды.

– При ком же?

– Подпослед при Иване Московском.

– При отце моем?

– Отцу твоему Ивану Ивановичу и дяде твоему Симеону посохом служил, а я о копье реку.

– Значит, деду?

– Деду, княже, деду твоему. А до того у Дюдени в полону был, влачился в басурманском стане, видел, как поганные костры возводили из городов наших: изничтожение Муром зрел, и Суждаля, и Володимера, и Юрьева, Переяславля и Углича; Коломну и Москву зрел в бедствии и в пламени, и Можай, и Дмитров. Но под Дмитровой вынес меня Господь из полона и пламени: утек.

– Дак тому разоренью век минул. Сам ли был, слыхал от кого, может?

– Запомятовал, княже. Но аз и допрежде того в походы ходил: на Сити-реке кровью сыт был. А прежде того, на Оке, под Коломною от Батыги сбежал. Первый раз тогда у нечистых в полону был. В Киев мы сошли, а и Киев увидели, покинут жителями, впусте, как гнездо по осени, – лишь пух да скорлупки мелкие, а сверху бурый лист. Сожженной Рязани кострище видел, когда в полку Коловрата-боярина<sup>16</sup> на помощь рязанцам шел. Поздно пришли; татары оттоль уж вышли, а узрели мы князей, воевод, витязей, жильцов, отроков рязанских, разбросанных на мерзлом ковыле, занесенных снегом. И сказал тут Коловрат: «Город, город Рязань! Поздно мы пришли тебя от Батыги пасти, чаяли рязанцам слезы отереть, а нет тут ни стонущего, ни плачущего, ни жен вопиющих, но вси вкупе мертвы лежат!..» Было у нас тысяча семьсот воинов с Коловратом. И кинулись мы вдогон за Батыгой, и почали их бить. Сказывают, закричал тут Батыга: «Мертвые рязанцы поднялись, нас настигают!..» И страх напал на татар. И полегло их множество. А когда обессилели мы и избиты были, взяли нас пятерых, кровью изошедших, привели пред Батыгу. «Кто вы?» – спрашивает. «Рязанцы мы, – говорим. – Послала нас Рязань-город проводить тебя, как русские всегда иноплеменников от себя провожают: стрелами и копьями...» И повелел нам Батыга с честью похоронить Коловрата, а нас с собой до Коломны вез. В коломенском бою, сказывал тебе, мы от него уткли.

– Полтора века, отче, тому бою. Как можешь помнить? Может, слыхал от кого али возмечтал о том?

– Запомятовал, княже. Не упомню. А и допрежь Коловратова полка в походы хаживал. Я роду рязанского, но не токмо под рязанскими князьями бился. Первый раз бился, когда Батыга на Калку пришел. Я у князя Данилы в полку был. Первый тогда раз русские татар узрели: квёлы, невидны они. Понадеялись князья каждый на себя, вразброд в битву пошли, а иные в отдалении своего часу ждали. Ой, много тел крестьянских полегло. Начали мы поганных рубить, разрубим пополам с темени до пупа, глядь – из одного рассеченного двое здравых встают, чем более их сечем, тем многочисленнее становятся. Плечи наши заныли, мечи иступились, руки обессилели, а они множатся и наступают. Осталось в памяти то побоище и клич наш горький, как скликать стало некого. Велики были плач, и страх, и крепкая обида, и отмщенье за ту обиду на тебе, княже Дмитрий Иванович! На тебе!

Он поднял свой посох и запрокинул голову, чтоб видеть из-под воспаленных гнойных век.

– Тягостен хомут нам! Обида и неволя к земле гнут. Возьми посох мой, еже копий не достанет!

– Сколько тебе лет, старче?

– Я считаю овец твоих. О том спроси. А возрасту счет Бог ведет.

И князь просил пастуха отведасть яств своих.

---

<sup>16</sup> *Евпатий Коловрат* – рязанский вельможа, герой народного сказания, по которому, после взятия Батыем Рязани и опустошения им рязанской земли, собрал дружину в тысячу семьсот человек и ударил по татарам. Ипатия не удалось взять живым, и Батый воздал хвалу его воинской доблести.



Старика взяли под руки, подвели к коврам и пододвинули к нему солило, полное сладкой рыбы, благоуханной от приправ.

– Как же рекут имя твоё, отче?

– Иваном по крещению.

– Отведай, отче Иване.

Старец рассказывал:

– Намедни, княже, твоя овца обьягнлась четырьмя ягнятами. Благая примета. Будет тебе, Дмитрий Иванович, прибыль в сей год: богачеству ли твоему прирост, семейству ли, славе ли твоей, не ведаю. Но будет.

Дмитрий, уже не внимая его словам, думал о глубине обиды, о посохе, готовом в бой, о словах старика. Схожие слова твердили бояре; эти слова завещал отец, томясь на смертном ложе; их ему дядя Симеон завещал: их ему повторяла мать, но теперь возле мирного стада, в молчаливом лесу, они прогремели, как труба, зовущая к бою: родина изнемогает, родная земля попрана, к отмщению призывает она народ. Он – великий князь – собирает уже под собой князей, а все еще кланяется Мамаю, голову свою покрывает Мамаевой шапкой. Шапку ту от Мамаю получил взамен своей, когда, по ордынскому обычаю, на пиру побратались они с Мамаем меной шапок. Бережно положенную возле, Дмитрий пнул ее ногой, как собаку.

Все заметили сдвинувшиеся Дмитриевы брови, скосившийся рот. Быстро он оторвал руку от кинжала и крепко ладонями вытер лицо. Он был бледен, но улыбался.

– Выпьем за старшего из нас. Во здравие твоё, отче Иване!

– Я, княже, единую лишь воду пью.

И тотчас подали ему воду в позолоченной чашке.

– Здрав буди, Дмитрий Иванович. Премного милостив ко мне, господине.

Когда все разлеглись по коврам и мураве на полуденный покой, Дмитрий, Владимир Серпуховской и Боброк отошли от стана к воде. Старец следовал за ними в отдалении.

Румяногрудая птичка – ольшанка, попискивая, порхала по кустарнику; может быть, опасалась за недалекое гнездо, затевала отвлечь людей от птенцов в сторону. Малая птица, а и та свое гнездо бережет.

Вышли на открытое место. И увидели: в небе металась темная стая. Высоко-высоко парил вырвавшийся у сокольника сокол. Пока охотники яствовали, сокол, видно, обидел скворца, и теперь десятки, тьмы скворцов кинулись на него, и сокол тщетно от них отбивался. Вниз, крутясь, летели соколиные перья. Маленькие птицы ощипывали в небе могучего хищника; кидались на его крылья, на темя. Свист и свирест стоял в небе, доколе сокол не покатился с высот в лес; скворцы ринулись за ним.

Владимир гневно обернулся:

– Что ж сокольниковый смотрел? Кто упустил сокола?

– Постой, Владимир Ондрич, – остановил Боброк. – Это нам небесное знамение. Сильна Орда, с Батыевых лет она бьет нас поодиночке. А вместе, стаяй, не уподобимся ли мы пернатому воинству? Найдется ли тогда сила, супротивная нам? Вот к чему сие знамение! И стоит оно дороже всех наших соколов.

– Народ единомыслен в сем, – ответил Дмитрий. – Одни лишь князья мутят и усобятся. Усовестить их словом тщится игумен Сергей, но усовестить их мечом – дело наше. И доколе хватит дыхания моего, не выпущу меча.

– И мы, брате, не отступим от тебя.

– Не отступим, брате.

Так поклялись они друг другу перед высотой сияющего июльского неба, под клики встревоженных птиц над вечным струением лесного ручья.

Топот коня, то пропадающий во мхах, то возникающий, приближаясь, привлек их. Они не дошли еще до больших елей, где под сенью ветвей ждали их постели на болгарских коврах.

Воин мчался прямо сюда, конь пронесся, задев копытами одеяла. Воин пригнулся, проскакивая нависшие ветви. Он осадил коня, горячего и почерневшего от пота. Пытаясь спрыгнуть, гонец зацепил ступней стремя, и нога застряла в ремнях. Так, повиснув, он изложил весть:

– Татары сожгли Нижний. Князь ушел за Оку. Волость вытоптали. Теперь, рассказывают, сошлись с превеликим войском со степи и двигаются на нас, великий господине.

– А жители? – спросил Дмитрий.

– Бежали за Волгу.

– Сам Мамай с войском? – спросил Боброк.

– Нет Мамай при войске. Бегич ведет.

Дмитрий, побледнев, обернулся к Боброку:

– Приспело время!

И побежал к постелям, где под присмотром отроков лежала княжеская одежда.

– Боброк! Время надо выгадать. Не робеть, скликать всех немедленно!

Владимир крикнул подбежавшему воину:

– Прикажи седлать! Охота пущай за нами ворочается.

Дмитрий поднимал спутников:

– Тарусский, Белозерский, Бренко! Вставайте! Скачем на Москву!

– Что ты, княже?

– Татары сожгли Нижний.

– А князь Дмитрий Константинович? – спросил Тарусский.

– Жив мой тестюшка, – отмахнулся Дмитрий. – В заокские леса утек! – И кинулся к коню, которого вели из-под лесной прохлады.

Дмитрий поскакал, не щадя ни коня, ни плети. Ветви хлестали по плечам. Незастегнутая ферязь развевалась позади; спутники едва поспевали за ним. Он кричал, не оборачиваясь, Боброку:

– Довольно кланяться! Настало время биться! Откланялись!

Позади, отстав, возвращалась на Москву охота. Последние всадники скрылись в деревьях. Еще чадили угли покинутых костров. Среди поляны одиноко стоял ветхий пастырь. И посох, коего здесь не приравняли к копыю, дрожал в руках, еще жаждущих битвы.

## Глава 6. Гонец

Скачет лесом гонец из Москвы в Троицу.

Как медведица шерстью, Русь густо заросла лесами. Леса стояли сырые, дремучие, из края в край по всей Русской земле.

Земля была влажной, реки полноводны и обильны рыбой, дороги непроходимы; не дороги – тропы. Коннику те дороги гожи, пешему – хороши, но колесам – неодолимы: и в вёдрое-то лето вязли колеса в колеях, а задождит – не вылезешь. Но дорога, как палка, – о двух концах: тяжела лесная колея русскому колесу, а вражьему степному сброду и совсем нету в лесу проходу. Дремучий лес выился плотной стеной, живой городьбой вокруг московских земель.

В темных глухих лесах много таилось зверья и всякой дичины – вепри и лоси, олени, козули, рыси, медведи и волки, белки и лисы, барсуки и бобры, куницы и зайцы. Казалось, что диковинные неодолимые звери и лихая языческая нечисть таятся в дебрях. И беглый человек в лесу ютился, и озорные шайки уходили в лес.

Кто зверя боялся, тот сквозь леса шел днем, – днем зверь спит, днем зверь опасается человека.

Кто человека опасался, тот ночью шел, – человеку от человека укрыться легче во тьме.

По тем дорогам и версты считали. Далеко был от Москвы город Можай; темным-темны леса разрослись по можайской дороге, а Москвой-рекой путь извилист. Серпухов считали ближе: серпуховский путь понаезженней, посветлей.

И до Троицы не всяк добрести мог: топи, мхи, вековечная заросль, бурелом. Там видимо-невидимо лютого зверья, а местами из земли дым струится – кто-то, видно, свою жизнь пасет. Из-под дубовых замшелых корней текут родники там. И крик в том лесу не откатывается вдаль, а возвращается вспять.

В том глухом лесу поселился Сергей, разоренного ростовского боярина сын, Радонежа-города житель. Ушел от родителей в те леса, выбрал высокое место над водой на горе Маковце, срубил себе незавидную хороминку, – захотел обрести тишину. Бортничал ли, рыбу ль ловил, питался ли корнем и орехами, но жил. Лазоревый дом растекался по тишине лесной, а молва о Сергии – по окрестным городам. Не одному ему недоставало в городе спокойствия. Начали к нему стекаться люди, просили пристанища, селились рядом. Каждый своей достачей жил. Сообща поставили церковушку во имя Троицы. А помалу из затхлых землянок в изрядные срубы перешли. Нищее было житье, пока Московский князь про ту обитель сведал. А сведавши, помог. Всея Руси митрополит Алексей уразумел Сергия: бескорыстен, но в замыслах упорен, в писании начитан, но гордыни чужд.

Паче же того оценил митрополит Сергия по единомыслию: сильны у русского народа враги. Татары – с востока, Литва – с заката, свей – с полуночи, – всяк норовит оторвать от Руси клоч, иные же и сердце норовят нечистой рукой из Руси вырвать. А князя усобятся, Руси не блюдут, только о своем добытке стараются. Не разумеют, что добыток князя от народа течет. Калита-покойник мудр был – понял. На верный путь стал – обиженных привечал, разоренных княжеств жителей жаловал, пограбленным купцам льготы давал. И текли в Москву к Калите, к Симеону, к Ивану, как и к нынешнему Дмитрию, бояре с дружинами и дети боярские, и житые люди, и беломестцы, и черные люди, смерды. И каждому московские князья на первое время давали свободу от поборов, заказывали подручным князьям, воеводам, наместникам и волостелям не забижать новосельцев.

Слово митрополита всея Руси на всю страну звучало, но надобны и митрополиту сметливые люди – слово разносить, порядок держать. Потому единомыслие и сблизило константинопольского поставленника – Алексея, святителя, владыку православных душ, и смиренного игумена Сергия. А расположение Алексея привело Сергия и в Дмитриев терем. Дмитрий уви-

дел в Сергии кроткого льва с булатными когтями, тихим голосом, но твердым взглядом. И лев хотел быть ручным у Дмитрия. А через Алексея да Сергия и церковь становилась ручной. Недаром Калита долго добивался и добился, чтобы всероссийский митрополит покинул Владимир-город – исконную после Киева обитель митрополитов, – поселился в Москве. Дорого это стоило деду, зато внук стоял теперь рядом с владыкой церкви. Алексей в эту зиму умер. Константинопольский патриарх сговаривался с Дмитрием о новом святителе. Сергия хотел поставить на свое место Алексей. Но Сергей отказался. Упрашивали, убеждали – отказался. Остался игуменом в деревянном маленьком Троицком монастыре, в топа, в лесных дебрях. А мог бы теперь сидеть в гостях у патриарха, взирать на теплое море, на Олегов щит над воротами Царьграда.

Скачет лесом гонец.

Скачут лесами гонцы из Москвы во многие грады и веси, к подручным князьям, к боярам, в села – поднимать Русь. Где-то в степном далеке идут на страну татары. Где-то за синью лесов ржут их степные кони, дымится земля под копытами басурманской конницы, каждый шаг приближает их. Они надвигаются, звеня клинками, напевая поганые песни, неся смерть. Неотвратимое, непобедимое войско.

Скачет лесом гонец.

Малые ручьи перескакивает. Реки вплавь переплывает. Под нависшими ветками кланяется гонец. По высоким борам скачет, хлещет коня, торопит.

Раз остановился: коня кормил. Другой раз останавливался – вздремнул сам. Но дремота в лесу в глаз не идет: конь захрапит – вскочишь: хорошо, коли зверя чуёт, от зверя оборонишься, а ежели человека чуёт, слушай! Страшнее зверя – человек в лесу.

Лежит гонец, дремлет, а повод на руке намотан, нож под рукой за голенище всунут, меч – при бедре, кинжал – на поясе. А все ж боязно: лес дремуч, глух, крик в нем вспять возвращается, да никто и не откликнется на крик.

Конь копытом ударил, а уж гонец на ногах: неужели ж встречный кто на коне пробирается? Слушает: ветка вдали хрустнула, то добрый знак: ежели был кто, стороной обходит, сам опасается, сторонится.

Гонец послушал, отломил хлеба, вынул из веточки мясо, отрезал.

А серенькая птичка на ветке свистит и приглядывается к человеку. Ближе соскочила. По мху скачет. Комочек серенький, а на темени черная шапочка.

Гонец в раздумье поглядел на нее:

«Пухлячок ты милый, скачешь от прутика к пруту, нет тебе людских горестей, ни забот, ни поспехов человеческих».

– Ци-ци, кее-кее...

Вскочила на сучок, перевернулась вниз теменем, клюнула в хвою. Вдруг вспрыгнула выше:

– Тиу-тиу-тиу...

«Может, и у тебя есть в гнезде детушки, малые пташечки».

Пухлячок по мху скачет, не опасается.

А плетъ гибка в гонцовой руке. Р-раз!

Птичка, затрепетав, запрокинулась навзничь.

«Ловок ты, братец Семушка!» – одобрительно подумал о себе гонец.

Закинув повод, вскочил в седло. Хлестнул коня, помчался вскачь. Тяжелый топот глохнул в сырой земле.

Уже Воря-река проблескивала сквозь кустарники. Здесь, на виду у реки, гонец осмелел. Он остановил коня, не слезая с седла, огляделся. Вокруг стояла тишина. Птицы в этот полуденный час молчали. Рот высох, хотелось пить.

Возле ручья на гнилой коряге сидел мужик. Ворот суровой рубахи был разодран, но рубаха, и порты, и обуша облегли мужика складно и, видно, были одеваны первый раз. На пальце его сверкал перстень.

«Что за человек?» – подумал гонец.

Но Воря-река текла невдалеке, а нож за голенищем наточен справно.

– Эй, брате, поднес бы испить! – сказал гонец.

– Не во что набрать. Напейся сам.

Гонец пораздумал и тяжело слез с седла. Разминая ноги, перекинул коню через голову повод, чтоб и коня попоить. Они подошли к воде и рядом вошли в реку; гонец повыше, конь ниже по течению.

Мужик, всклокоченный, волосатый, сурово и молча смотрел на них. Почудилось ему: «А може, из тех. Меня ищут?»

Выждав, пока напьются, он спросил:

– Далеко ль путь?

– В Троицу.

– На богомолье?

Гонец обиделся: от самого князя скачет, письмо везет. Вот что значит лесной человек – не смыслит другого человека. Надо бы сразу догадаться.

– Нет, от самого Митрия Ивановича, всея Руси.

«Вона что...» – смекнул мужик.

– Милостив, что ль, к тебе Дмитрий-то Иванович?

Гонцу почудилось, что мужик как бы насмехается над ним. Но вдомек ли дорожному мужику над великокняжеским гонцом насмехаться!

– Щедр, велик, многомилостив, – ответил он.

– А что-то одежинка твоя – не с княжеского ль плеча? – усмехнулся мужик.

Верно, одежина у гонца незавидная, но оружие привозное, не малого стоит. Да и не мужику в такие дела вникать.

– С княжеского али нет, твое дело стороннее! – прикрикнул на него гонец.

Сомнения не оставалось: из тех.

– Знатно ответил. Ты уж не в боярах ли у князя служишь?

И подумал: «Видно, не опознал. Я тогда шел опрятно. А может, и опознал, да таится?»

– Стороннее твое дело, говорю. Пень ты лесной, а мыслить тщишься!

– А ты, вижу, даже и не тщишься?

– Не книгочей, не чернец, а воин, воину ж розыгрыши в голову кидаются, головную хворь вынуждают.

– Эна как! Сам-то московский?

– Коренной.

– Поди, и дом у тебя там каменный?

– Он хоть и не каменный, а уж худей твоего навряд ли будет.

– А у меня ни нового, ни кленового, где ежжу, там и служу. У тебя, поди, и жена в Москве?

– А как же!

– Красавица?

Воин смолчал.

Мужик пододвинулся ближе.

– Поди, есть у тебя и малые детушки?

И не успел гонец вымолвить ответ, мужик сшиб его сильным ударом и вскочил ему на грудь.

Рука гонца потянулась к голенищу за ножом, но колено мужика наступило на руку пониже локтя.

Воин напрягся, слясь вывернуться из-под тяжелого тела, шуйцей пытался сорвать с горла руки, но, прежде чем он сорвал их, дыхание захватило, и тьма застлала лесную мглу.

Когда тело перестало содрогаться, Кирилл привстал. Все теперь принадлежало ему: кинжал, нож, меч, конь, панцирь, шолом, за седлом – топор. А еще утром он пробирался лесом, не предвидя пути, «не на пользу себе думаша».

Теперь он справлен, как воин. И коня гонцу дали отборного: «чтоб добре поспешал».

Кирилл отвел коня за деревья. Вернулся и потащил туда воина; в стороне от пути можно спокойнее разобраться.

Много оказалось добра. Жалко, что еда была почата, но и осталось достаточно. В ладанке на груди нашлось и письмо.

Когда три дня назад он вывернулся из-под воинского клинка и проскочил под брюхом коня, сторяча он думал лишь об одном: дальше, дальше, дальше! Корневища подвергались под ноги, сучья царапали лицо, хвоя встревала в волосы. Путь к Троице ведом был ему, неведомо было лишь, как объявиться там. Примут за беглого раба, спустят в монастырские погреба, доколе хозяин не сыщется, а не сыщется – в монастырского раба обратят, это же горше смерти. Голод морил его, и все не знал, куда двинуться. Сидел у родника, запивал водой голод. И могло б всяко случиться. Но вот наехал на него воин, и стал Кирилл воином.

Куда ж теперь? На Москву? Но ежели опознают? В Троице воину делать нечего. Он лениво развернул письмо. Писал сам Дмитрий.

Как теперь ненавистен Кириллу Дмитрий! Вывел из Рузы, обласкал, разгорячил на дело, а когда дело сделано, повел в темный лес... Остались там и Алис, и Ефрем-повар, и каменщики – Панкратий, Авдей, Елизар и Ахмет Букей, и черемис Лазарь, и болгарин Хузан. Одного Кирилла вынес Бог, одного Кирилла осенила допрежь того мысль, что нечистое о них задумано. И подтвердились его опасения, когда Дмитрий, проходя мимо на кладке Тайницкой башни, сказал Боброку: «Вижу, помнишь наш уговор о немоте каменщицкой». И как тогда опасно и поспешно оглянулся на него Боброк.

«Крепко задумано!» – догадался тогда Кирилл и задумался, как из этого выйти. Спрыгнуть с кремлевских стен – значит убиться до смерти. Пробриться сквозь сторожей надежды не было.

«Сбегу, когда выведут! – думал. – Сманю Алиса!» Но не внял словам его Алис и за это лежит нынче в ельнике, где нашел Кирилл свежий бугорок земли, – видно, рыли мечами: землю накидали не пластами, а комьями. А в помятой траве, оброненный кем-то, сверкнул золоченый перстень. Перстень не здешний. Византийский али угорский. Вставлен в него камень опал, волчий глаз.

Кирилл читал письмо ненавистного Дмитрия:

«Отче Сергие!

Близится час испытания.

Татары вступили в землю Русскую.

Встретим их не по-прежнему. О чем Бога молили и ночами на совете у святителя Алексея замыслили, близится. Оружие запасено. Люди обучены. Сшибемся во имя Божие. И да будет воля Его.

Чаю слышать тебя. Прошу твоей молитвы. Благослови, отче!»

И ниже, видно, по размышлению, скорописью подписано:

«Ведь Русь оборонять встанем! Не прежние походы, когда усобицами меч иступляли, Сергий!»

«Не Дмитрию – сие Москве надобно!» – подумал Кирилл.

Он пошел к коню, вынул из седельного мешка снесь, поел. Стало на душе спокойнее. Принялся облачаться. Кое-что оказалось не по росту, – узковато чуть. Но и то добро: стал

стройнее, моложе. Вооружение словно стряхнуло с него сонь, одурь, – шаг окреп, даже взгляд изменился; волосы мешали, и он, сколь мог, подсунул их под шлем.

Остатное скрыл подальше в кустах. Мясо в зубах навязло, и, колупая его оттуда, он перешагнул через распластанного гонца. Осмотрелся, прислушался: мирно посвистывали птицы, встрепенувшиеся после полуденного покоя.

Он отволоч тело в овраг. Похрустывая сухими ветками, оно укатилось глубоко вниз.

## Глава 7. Сергей<sup>17</sup>

На пригорке в поредевшем лесу засветлели строения монастыря, обнесенные бревенчатой стеной. Глухо и протяжно доносилось, словно издалика, церковное пение. Пели вечерню.

Кирилл спешился у ворот и прислушался.

«Скоро кончат».

Тягучий напев молитв слоился в воздухе, как ладанный дым. Так пели в этот час и в Царьграде, и в Орде у православного епископа Сарайского, и далеко на севере, в новгородских пятинах. Этот напев, уже слегка поиначенный на лад русских песен, родился далеко на востоке, – может быть, в языческих Афинах, может, в Александрии, может, даже от египетских пирамид донесли его в этот болотный лес, – менялись слова, умирали народы, а лад гимнов тянулся сквозь века. Не молиться хотелось теперь Кириллу, а сесть в дорожную пыль, закрыть глаза и слушать эти напевы детства.

Но воин поборол в нем сладость воспоминаний. Он ударил в кольцо ворот.

В глазок его осмотрели. Кирилл сказал:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

– Аминь! – ответили ему из-за ворот и приоткрыли въезд.

Сняв шелом, он ввел коня под ворота.

Во дворе было безлюдно.

Золотоперый петух, выкатив грудь, шел поперек лужайки.

– От князя к игумену, – сказал Кирилл привратнику.

– Он у вечерни. Пообожди малость, кмете<sup>18</sup>.

Привязав коня у прясла, Кирилл вернулся к воротам и сел на скамье. Одинокий колокол под дощатой крышей звонницы ударил и повторил удар, и еще раз ударил.

Привратник сел на другом конце скамьи:

– Приустал, сыне?

– Благодарение Богу, отче, – не чрезмерно.

– Не страшно ли ныне лесом?

Кирилл подумал: «Небось у каждого это выспрашивает, а самому все одно – уходить отседа некуда». И спросил, показывая на петуха:

– А курам у вас жить дозволено?

– А от кого ж нам к Пасхе яйца собирать?

– Соблазна чернецы от того не имут ли?

– Блуд в сердце сокрыт, а не в зрении, сыне.

– Оно бы и так, но через зрение блуд вползает в сердце.

Вечерня окончилась, и братия пошла из храма. Тесная и уже покосившаяся церковка, срубленная из вековых сосен, была подобна улыю, откуда пчелы выбирались за взятком. Подоспешший келарь<sup>19</sup>, взяв от Кирилла письмо, велел чернецу вести гонца трапезовать.

Длинные столы тянулись под низкими потолками. В трапезной стоял полумрак. Казалось, что видные сквозь раскрытую дверь деревья объаты белым пламенем. Там еще сиял летний день, а здесь уже наступили сумерки. Крепко пахло смолой, ладаном и медом. Темные, как засохшая кровь, образа стояли в углу на полке. Кто-то украсил их цветами и вербами.

---

<sup>17</sup> *Сергий Радонежский* – игумен Троицкого монастыря. Сын боярина Кирилла из города Ростова Северного (Варфоломей). При постриге принял имя Сергей. Основатель Троицкого и других монастырей. Выполнял весьма важные поручения митрополита Алексия, будучи прямым помощником, а в дальнейшем продолжателем его церковно-политической деятельности, направленной на усиление московских князей и освобождение от татарского ига.

<sup>18</sup> *Кметь* – воин.

<sup>19</sup> *Келарь* – инок, ведающий монастырскими припасами или другими хозяйственными делами.



Чернецы пододвинули к гонцу ближе миску и принесли ложку, но спрашивать ни о чем не решались.

Кирилл приглядывался к ним. Много наслышан он был о Сергиевой Троице. Здесь впервые обобщили имущество всей братии. Вступая сюда в братство, надлежало отдать все свое достояние в общий достаток монастыря. Многие монастыри уже откликнулись на призыв Сергия отречься от прежних правил, а было прежде в монастырях у каждого свой дом, свое хозяйство при доме. Каждый, сообразуясь со своим достатком, строился внутри монастырских стен и, умирая, отказывал все монастырю. Ныне же отказывали при вступлении в обитель. Человеку, кинутому в житейскую пучину без пристанища, без покрова; бродягам, странствующим из города в город; странникам, покинувшим разоренные войнами очаги; старцам, не сохранившим возле себя чад на прокормление; юношам, алчущим просвещения, – всей окровавленной, пожженной врагами Руси, – такой монастырь открыт.

Шли сюда из киевских древних монастырей, из опустошенной Рязани, из Ольгердовой Литвы, из городов, из сел. Братство разрасталось, и ближних сел поселенцы уже не однажды восставали на Сергия, жалобясь князю, что вскоре захватит Троица под свою длань скудный достаток их, с превеликим трудом раскорчеванные поля, палы, пасеки и всю жизнь. Великий князь отмалчивался, одаривая обитель новыми землями, угодами, рыбными ловами и звериными промыслами. А новые земли нуждались в новых руках. И не благодать, а топор и соху давала Троица приходящим под ее покров. И, постригая пришельцев в монашество, Сергей говорил:

– Трудись, сыне: Господь милует прилежных, ради монастырского блага усердствующих.

И смердам, пахавшим отошедшие к монастырю земли, монахи поясняли:

– Труд во имя монастыря, яко молитва ко Господу: в тую же небесную чашу падает.

Бояре слали сюда церковную утварь, родовое оружие и драгоценные украшения для икон, отписывали монастырю деревеньки на помин своих душ. В немногие годы Троица встала со своей покачнувшейся церковушкой выше древних, почитаемых монастырей.

Кирилл всматривался в чернецов, хлебая щи из квашеной капусты и запивая густым квасом соленую снедь.

Заросшие волосом, черным и русым, дородные и хилые, юные и древние, все они искоса поглядывали на него. Они видели в нем человека из другого мира – может, он имеет жену и детей и не голодает, живя на воле. Кирилл сам был когда-то чернецом и умел читать их думы. Было время, и они в миру скитались, грешили, терпели, мечтали, пока не отреклись от надежд, пока не постриглись сюда.

К Кириллу приблизился келейник<sup>20</sup> и посмотрел на него пристальным взглядом из-под строгих бровей.

– Преподобный тебя ожидает, кмете.

Кирилл встал и пошел за келейником. Ни разу не видел он Сергия, хотя не было дня, когда бы не слышал о нем. Вся Русь от края до края говорит о нем, близком Московскому князю, и Византийский патриарх переписывается с ним.

Они шли монастырскими улочками, по дощатым мосткам. Стены жались к стенам, словно вокруг не было безлюдных земных пустынь. Они вышли через калитку в монастырский сад. Яблони в тот год гнулись под тяжестью урожая. Колоды, полные пчел и меда, тянулись под яблонями. Пасека у Троицы занимала обширное поле.

– Обильна! – сказал Кирилл и вдруг уловил в сердце своем страх: перешагнув через убиенного им кметя, шел он теперь к провидцу и чтецу сердец.

Но в это время тропинка повернула, и за кустами смородины Кирилл увидел Сергия. Келейник молча поклонился Кириллу и ушел.

---

<sup>20</sup> Келейник – инок, прислуживающий монашествующему лицу, служака.

Игумен стоял с засученными рукавами над раскрытым ульем. Ничем не обороненное лицо Сергия склонилось к пчелам. Он был худ, строен, в жидкой рыжей бороде виднелась седина. Пчелы роились над ним, освещенные солнцем. Робость овладела Кириллом. Весь сверкая железом вооружения, он стоял в отдалении, не решаясь подходить ближе – почудилось Кириллу, что издавна знает этого человека, что прежде много раз так стоял в стороне от него, словно где-то разговаривал с ним... Тверда была у Кирилла память, но не мог он припомнить, где он видел сего человека.

Вот он стоит – игумен Троицкого монастыря. Как далеко по Руси растеклась слава о кротости, благочестии и уме сего советника и увещателя князей, о великой его чести у князей и бояр русских. Даже Мамай расспрашивал Дмитрия о нем в Орде.

Сергий обернулся:

– Не опасайся пчел, сыне, подойди смело.

«Боже милостивый! просвети: где же внимал я голосу сему?»

Кирилл подошел, сложив под благословение руки, и Сергей благословил его, глядя Кириллу в лицо. Серые глаза Сергия смотрели ласково, но внимательно, словно подстерегали.

– Что тебе наказал государь Дмитрий Иванович сказать мне устно, сыне?

Кирилл потупился и, не подымая глаз, солгал:

– Велено было перенести писание, святой отче. Устного же не наказал ничего.

А когда поднял глаза, встретил серый непреклонный взор:

– Не запомнил ли, кмете?

Теперь уже не сына, а воина спрашивает он кротко, но строго.

В памяти Кирилла встали слова Дмитрия, сказанные Боброку на башне, и он ответил твердо, глядя в глаза Сергию:

– Храню слова князя нашего до скончания жизни.

– А о татарах тебе вестимо? Где они, сколько их идет?

– О том вестимо одному только князю, отче.

– Князь твой в Москве? Ты с Москвы скакал? Разве Москва еще молчит о враге?

– Не дело воина слушать посадское разноголосье, отче.

– Но к врагу гнев единомыслен, а не разноголос.

– Прости, отче.

– Уповаю на Господнюю кротость, смири гордыню свою и не искушай ни Иисова милосердия, ни человеческих сердец.

– Благослови, отче.

Сергий, может быть, не расслышав или задумавшись о чем-то, отвернулся к пчелам, не благословил, и Кирилл не знал, ждать ли ему ответа от Сергия для князя. Игумен сейчас говорил с гонцом великого князя, а ничего не сказал в ответ!

Кирилл стоял, выпрямившись, озаренный гневным заревом вечера. Позлащенная зелень смородинника сияла, густо обрызганная крупными каплями рдеющих ягод. И лицо Кирилла багровело.

Так стоял он, пока Сергей, не оборачиваясь к нему, отошел к другому улью и не спеша ушел между колод и кустов вдаль.

Тогда Кирилл стиснул кулак и хотел кинуться вслед за игуменом, выдавить из него ответ для князя или признание, – почему он не ответил? Но так тихо удалялся Сергей, так спокойно сложил за спиной руки, столько кроткого мира было в этой удаляющейся чуть сутулой спине, что Кирилл почувствовал: весь гнев, разгоравшийся в нем, угас. Лучше смолчать и кинуться прочь, дальше от этой обители мира.

Кирилл пошел по тропинке обратно и увидел келейника, молча ожидавшего за кустами. Тут впервые заметил, что келейник громаден, что он превосходит ростом и могучей шириной плеч даже его, Кирилла. И если Кирилл, волосатый, неопрятный, был похож на чернеца,

облаченного в воинские доспехи, келейник казался воином, укрывшимся под черной рясой. И, не говоря ни слова, он шел перед Кириллом по дощатым проходам между строений, пока не вывел его к просторной избе невдалеке от ворот.

– Тут отоспи, кмете.

– Надо сперва коня глянуть.

– Конь во дворе.

Конь в полутьме навеса похрустывал сеном. Кирилл хозяйственно подошел снять седло. Пряжка, затянутая не его рукой, долго не поддавалась. Кирилл ободрал палец о железо, сиюсь вытянуть защемленный ремень подпруги.

Келейник, стоявший в отдалении, спросил:

– Что там у тебя, кмете?

И подошел ближе. Оттянув двумя пальцами пряжку в сторону, он отпустил подпругу, и седло сползло с потника.

– Что же ты, кмете, простой воинской пряжки отстегнуть не можешь?

– Устал, отче. А откуда у тебя разум воина?

– Аз есмь на послушании в обители сей, но допрежь того ведал бранную потеху. Ты, вижу, мало еще воинский обычай сведал? А конь добр.

И слыша лишь дыхание Кирилла, складывавшего седло и потник в войлок, постоял молча и, улыбнувшись чему-то, ушел.

Кирилл, подложив оружие под сверток с седлом, а сверток под голову, лег на широкой скамье в углу. Вся усталость, все напряжение этого дня вдруг навалились на него, и он стремительно уснул, опрокинувшись навзничь, раскинув руки, словно раздавленный тяжестью.

Еще сны текли, цепляясь друг за друга, еще какая-то мирная, светлая жизнь сияла в глазах, а уж твердая рука взяла Кириллову руку:

– Уже и утреню отслужили, брате Кирилле, и братия сошлась к обедне.

Кирилл увидел, что день разгорается за открытой дверью и в узкое волоковое окно пробился радостный луч. Кирилл быстро вскочил и сел на скамье.

– Ой, как я спал. Давно так не спал, отче. Прости мя, не ведаю имени твоего...

И вдруг задумался: где, кому, когда назвал здесь он свое имя, почему этот келейник назвал его по имени?

– Александром зови, – отвечал монах.

– А откуда тебе мое имя ведомо?

– Так преподобный приказал тебя взбудить.

– Спаси тя Господи, отче, – поблагодарил Кирилл и, выпрямившись, оделся скоро и складно, чтобы Александр не заметил непривычки к доспехам.

– А не сготовил ли отец игумен ответ для князя великого?

– Он еще затемно ушел в Москву.

– Пешой?

– Он всегда пешой ходит.

– Когда ж он дойдет?

– Прежде тебя, кмете. У него есть тропы, ведомые ему одному. Счастливо те ехать.

– Спаси тя Господи, отче Александре.

– Господь тя благословит.

Так они попрощались.

Утреннее небо горело, плыли прозрачные облака. Золотые густые полосы света, перемежаясь с высокими тенями елок, покрывали кровли и стены келий, как полосатые попоны покрывают ратных коней.

Кирилл зашел в трапезную, взял с собой дорожной снеди, уложил в седельную переметную сумку, заседлал коня, перекинул сумку, вывел коня за ворота, простился с привратником и, вскочив в седло, поскакал.

Как кротко и ловко изгнали его, думал Кирилл. Дали доспать, дали еды в дорогу, благословили на счастливую жизнь... Но одно угнетало Кирилла теперь: как постиг Сергей его, Кириллово, имя?

Много видел Кирилл стран, городов, страданий людских и понимал, что можно читать в человеке его страдания, его смятения, можно догадываться о тайных мыслях. Но превыше домыслов сих было это прозрение имени чужого человека.

Горяча коня, он скакал по московской дороге. Объехав овраги, он услышал в стороне вороний грай.

«Делят галицы моего кмета», – подумал без сожаления о сброшенном им в овраг гонце.

Не доезжая до Москвы, Кирилл спешился и увел коня дальше от дороги в гущу зарослей. Там лег на траве, недалеко от глинистого холма, уже притоптанного тяжелыми следами зверей.

«Тут вы спите, братья. Господь знает горести ваши. Знаю и я ваши надежды и мечтания. Один я. Ты не послушал меня, Алис, брат мой. Не попрекну тем. Но и вы простите меня за жизнь, сохраненную мне».

Он полежал возле них, с которыми много ночей пролежал рядом на общих нарах. И встал над ними, оставшимися и впредь лежать здесь вместе, без него.

Куда ехать? В Москву путь закрыт. В Москве зорек великий князь. Надо искать окольных дорог. Многими из этих дорог ему уже приходилось хаживать.

Сняв шелом, не спеша помолился он над огромной могилой. Поклонился ей до земли, потом тихо вывел коня на путь, перекрестился снова, надел шелом и твердым рывком вскочил в седло.

## Глава 8. Воинство

Голубой предутренний холодок стлался над еще спящей Москвой. Перекликались петухи, и по их голосам казалось, что город бесконечно широк и просторен. В предместьях он был широк – дома стояли редко, окруженные молодыми садами, полянами, огородами. Местами дома жались вплотную к дороге. А рядом тянулись плетни и частоколы; позади них в глубине темнели стены жилищ и сараев. Ближе к стенам ютились пешеходные тропы; колеи дорог, после недавних дождей, то проваливались рытвинами, то вздымались буграми; густая грязь засасывала колеи; кое-где лужи преграждали путь. Тучи спускались к востоку, небо светлело радостной предрассветной зеленью, и петухи кричали про какую-то то Кукуй-реку, про свою петушиную родину.

Ближе к посадам дорога становилась ровней, рытвины были завалены мусором, щепой и щебнем. Строения стояли тесней, дома высились краше; кое-где у домов настланы дощатые мосты для прохожих.

Пятеро монахов прошли по еще безлюдному городу. Лишь один был сухощав и хил, остальные плечисты и рослы, все годились бы в богатыри. Рясы снизу запылились от долгой дороги, к порыжелым сапогам налипла грязь, да и дорожные посохи отяжелели от засохшей на них глины.

Сонная застава неохотно вышла опросить их.

– Такую рань, отцы святые, почивать надоть.

– Нам или вам почивать? – задорно спросил рослый монах.

– Наше око, отче, в ночи недреманно. Откуда несет-то вас?

Сухощавый седой Сергей подошел к спорящим:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Двое воинов стремительно рухнули на колена:

– Благослови, преподобный отче!

Сергей перекрестил их:

– Бог вас благословит, кметы! Блюдайте часы свои: враг идет. Разумейте: змея грядет, а змееныши прытче ползут впереди. Блюдайте град, ибо мраком скрыт час испытания.

– Радеем, отче.

– Ну, бог с вами.

Монахи прошли посад и остановились у кремлевских застав. Александр, догнавший Сергея еще на ночном привале, стоял к игумену ближе других. У мостов толпилась стража. Поросшая водорослями, чернела вода во рву, бурая плесень поднималась по низу каменных стен, недавно выбеленных. С моста воины смотрели в ров, куда досужие купцы закинули удочки.

– Да какой там карась, коли ряской всю воду задернуло?

– То и добро! Он эту самую темноту и ищет.

– Глянь! Глянь! Ключнул!

Воин, оскользаясь, скатился к удилищу и дернул прежде хозяина.

Леса сверкнула, и добыча блеснула в воздухе. Дружный смех покрыл голоса у рва:

– Лягва!

– Лягушку выхватил!

А рыболов ожесточенно срамил воина:

– Нечистый ты подсунул. Чего чужое удилище вздымал?

– А коли б ты дернул, на крюке белорыбица, что ли, объявилась бы?

– А почему ты знаешь, что нет?

Разгорелась ссора, но вдруг все стихло. С мокрыми засученными портами, в распахнутой по вороту рубахе, простоволосый рыболов кинулся кверху, где на зипуне сидел его мальчонка.

Он схватил малыша за руку и поволок к перемостью. Там стоял Сергей, благословляя стражу, и стражники сбегались к нему под благословение.

– Отче Сергие! Благослови выюношка моего!

– Будь благословен, малый отроче, во имя Отца и Сына... Возрастай для веселия Руси, а не для ордынского гнета. Благословляю тя, да будет родина твоя чиста от иноплеменного ига, ибо, лишь сломив его, встанет народ в полном веселии и величии. И час битв грядет. А твое время впереди и светло.

Мальчик смотрел на Сергия карими испуганными глазами, и Сергей, склонившись, погладил и поцеловал его. Сергей знал, что каждое его слово, каждое движение будет разнесено по всему граду, а может быть, выйдет и за пределы городских стен.

В Кремль еще никого не впускали, но кованые ворота, яростно зарывав на петлях, открылись прежде, чем Сергей дошел до них.

Князья могли враждовать между собой, город мог восставать на город, но никто, кто бы ни был на Руси, не встал бы наперекор церкви. Власть московского митрополита распространялась на всю Русь, простиралась и на Орду, на христиан, живших там. Всем было ведомо, что митрополит Алексей передавал свой сан Сергию, но никто постигнуть не мог, почему Сергей пренебрег саном святителя. Сергей не юродствовал, не унижал себя паче меры, как иные, что, имея каменные палаты, выходят на народ в берестяных лаптях и опоясываются веревкой.

Много неурядиц произошло в сей год в митрополичьих покоях. Едва скончался митрополит Алексей, как возник спор о его преемнике.

Князю Дмитрию нужен был свой ставленник, чтоб блюл слово Москвы и слово то высказывал от имени церкви ко всем русским князьям. Много он уговаривал Сергия.

– Нет, – отвечал Сергей. – Нет, господине. Тишины ищущи в вере, а не власти. Не искушай мя.

Тогда Дмитрий выдвинул нового человека – коломенского попа Митяя. Но о Митяе говорил еще прежде Алексей:

– Мало искушения знал. В иночестве не порадел.

Когда Сергей отказался, Дмитрий своей волей принял Митяя<sup>21</sup>. Поп поселился в митрополичьем дворе, принял постриг.

Посвящение на всероссийскую митрополию давал Константинопольский патриарх. От патриарха зависело благословение и выбор. Митяй опасался соперников. Дионисий Суздальский направлялся в Царьград, рассчитывая получить расположение патриарха, а в Киеве уже сидел благословенный патриархом Киприан. Киприана выдвинули в Литве, родом он был серб, выдвигали его литовские князья с надеждой перенять церковную власть на Руси в свои руки.

Михаил-Митяй, печатник и духовник Дмитриев, архимандрит Спасского монастыря, забеспокоился: надо ехать в Царьград, получить от патриарха сан, обойти соперников.

Сергий не любил Митяя, хотя и был тот удобный Дмитрию человек: книжен, велеречив, соблазнителен видом, – не пастырь церкви, не предстатель перед Богом, а земной человек. Сергий знал: каждое его слово, каждое движение становится известным Митяю.

Сергий прошел в Чудов. Утренняя кончалась. Он тихо вошел в церковь, помолился на паперти, среди нищих и убогих. Тихо прошел к Алексеевой гробнице, стал возле нее на колени и так достоял службу.

Дмитрий встретил его в саду, пошел к нему навстречу, попросил благословения и усадил на скамью.

– Аз твоего гонца, господине, не постиг. Только от народа попутно узнал о татарах.

---

<sup>21</sup> *Михаил-Митяй* – коломенский священник. Дмитрий Донской взял его в духовники, выдвинул в преемники митрополита Алексия и послал к константинопольскому патриарху с весьма широкими полномочиями и почетной свитой. Во время плаванья умер на корабле, что породило слухи о неестественной смерти.

– Я нарочито наказывал, чтобы Бренко наставил его изустно: скажи отче Сергию: враг велик, испытание предстоит тяжкое, кровопролитие великое. Новгород Нижний дотла спален и потоптан. Нижегородцы в дебрях укрылись. Князь Дмитрий Константинович в Суждаль ушел. Бедствие пало на них великое. Но паче того: враг на нас наступает, несметное воинство татар движется в пределы наши. Многое нами приуготовлено, но грядущий день скрыт нам. Молю тебя, отче, просвети, заступись в молитвах, поддержи советом.

Оба они встали.

– Не я, а Бог просветит и поддержит тя, Он и заступа твоя. К Нему обратись. А молитва и мысль моя с тобой неотступно.

Сергий показал Дмитрию письмо.

– Вот получил и пришел к тебе сам. Из Киева в Москву едет Киприан. Над ним благословение патриарха. Если пойдет к Москве, не будет другого для Руси митрополита; скажет патриарх: «Аз воздвиг Киприана, ему же внемлите».

– А он будет сидеть в Москве, а внимать Литве.

– Истинно. Ныне ж смирен. Слушай его рукописание ко мне, грешному: «Слышу о вас и о вашей добродетели и о том вельми благодарю Бога, и молюся ему, да сподобит нас видети друг друга и насладиться духовных словес».

– Сладок, как соловьиный щекот.

– Есть птица-сорокопут. Сорок песен в своей путает, из тех песен путы для птиц плетет. Кто ее голос услышит и прельстится, якобы своей подругой, тот ее добычей становится. Песню прервав, сорокопут на птицу кидается и терзает ю. Так и сладость сих словес звучит.

– Тако и аз мню.

– Пишет Киприан далее: «Буде же вам сведомо: приехал есмь в Любутск, в четверток, месяца июня 3 день, и иду к сыну своему, ко князю великому, на Москву».

– Вот и мне прельстительную песню с ястребиного клюва скинул.

– А слушай дале – вот и коготок сверкнул: «Аз же святитель есмь, а не ратный человек, благоволением иду, яко и Господь, посылая ученики своя на проповедь, учаще их, глаголя: приемляй вас, Мене приемлет».

– Еще на Москву идет, а уж намекает: коли кто против Киприана пойдет, против Бога пойдет. Прииму грех на свою душу!

Дмитрий крикнул воина. Велел скоро звать Бренка.

– Что задумал, господине? – спросил Сергий.

– Не спрошу благословения твоего. Хочу грех на одного себя принять.

Сергий улыбнулся.

Бренко уже ждал Дмитрия в палатах и скоро сбежал в сад.

– Дело такое: едет сюда митрополитом Киприан. Из Любутска письмо прислал. И с ним слуги и люди, и времени нам терять нельзя. Посылай ему встречу. Выбери кого построже, пущай воздадут такую честь, чтоб не знал, где лечь и где сесть. Понял?

– Княже, ведь он же от патриарха поставлен?

– Я патриарху дары шлю. Без меня б не дары, а дыры на патриаршем дворе в Царьграде сверкали. Византия старым орлом чванится, а на моих деньгах держится. Сколько уж лет мы и гривнами, и мехами, и золотом, и товарами чтим их. А они хотят по-старому, нас не спрося, своих святителей нам ставить! Узнают, каков от нас прием Киприану оказан, вежливей и патриарх станет.

– Ой, господине! – попрекнул Сергий. – Легко о патриархе речь ведешь, велик грех приемлешь.

– Прости, отче Сергие, тут сгрешу, еще где-нибудь на Бога отработаю. Ступай, Бреноч, ускорь сие.

– Я б мог Никифора-воеводу срядить, да больно злонравен. На руку тяжел, груб.

– Вот-вот, Бреноч. Его и сряди!  
– А не переусердствует ли?  
– Он переусердствует, он перед Богом и ответит. Скажи: покруче встретить, а меру крутости на его грех оставь.  
– Будь по-твоему, Дмитрий Иванович.  
– А еще слушай, – какого посла к отцу Сергию слал? Он из устного ничего ему не передал, стоял дерзко. Кто сей?  
– Исправного воина туда посылали. Сам ему наказывал. Семушкой зовут. Вернется – разведаяю.  
– Еще не вернулся?  
– Загулял ли? Дело воинское.  
– Не воинское дело гулять, когда кличут на рать.  
– Сведаяю, Дмитрий Иванович.  
В это время в сад долетел рев труб, людские нестройные голоса, гул народа, неистовый вскрик женщины и еще женские голоса, крики. Какая-то молодая баба запричитала, но в ответ ей раздался дружный мужской смех, и, все покрывая, поднялся сильный юношеский голос запевалы:

Ай, не сизый орлище встрепенулся...

Трубы стихли. Голоса подхватили песню и понесли ее из Кремля к воротам, мимо княжеских теремов, садов, церквей, из городской тесноты в простор неизвестной дороги:

Ай, не сизый орлище встрепенулся,  
Не грозовая туча наплывает...

– Тронулись! – сказал Дмитрий и перекрестился.  
И пошел к терему рядом с Сергием; Бренко следовал позади.  
– Где будет молебствие? – спросил Сергей.  
– В поле, за заставой. Там уже приуготовлено, – ответил Бренко.  
– Я тебя довезу, отче Сергие, – предложил Дмитрий.  
– Благодарствую, господине Дмитрий Иванович! Я с ними дойду! – показал он рукой за ограду, где колыхалась огромная толпа.  
– Толкотно с ними, отче! – предупредил Бренко.  
– Не страшусь людей, Михаил Ондреич.  
Сергей заторопился, чтоб выйти к войскам.

Войска шли вольным потоком, теснясь у ворот; кое-где в этой еще не полностью вооруженной лавине высились воеводы и сотники на конях. Всадники ехали в полной боевой оправе. Железо поблескивало, синевой отливала сталь.

Пешее воинство тащило над собой пики. У поясов висели мечи. Поверх домотканых рубаш чернели ремни щитов. Новые лапти скрипели, но шаги звучали глухо, будто не по городским улицам шагают, а в лесной траве. Песня увлекала воинов. Легкий ветер шевелил светлые, как у детей, волосы. Светловолосо русское воинство. Но и черноголовые между русыми, и рыжие. Голоса звучали разнo, но песня была одна:

Подымается великий князь Московский,  
Подымается пешими полками.  
Подымается конными войсками,  
Слава, слава, слава, слава...



Сергий смешался с толпой. Близкие опознали его, но не прервали песни, и он шел с ними. Каждый думал о себе, что не его коснется татарский меч, не его пронзит переная стрела басурманина, а Сергей ведал: мало кто вернется с песней назад, многие вернутся, стона и плача, а многие не вернутся никогда.

Войска пошли. Пошли в неведомую даль, навстречу лихому врагу, за землю Русскую, за свои города и села, каждый за свое маленькое счастье и за большую свою отчизну.

Так прошли они – тысячи, тысячи людей – через град Москву, где теснились вдоль улиц москвитяне, где уж не скоро придется вновь пройти, погулять. Много тут было хожено, много гуляно. Оборачивались в свои переулки, не прерывая песни; оглядывались на свои улицы; с песней проходили мимо своих домов, откуда их привечали воплями и окликами.

Шли, шли, и не было им конца. Уходили навстречу врагу, впереди их ждали ветры, и грозы, и стрелы, и мечи мурзameцкие.

В ровном зеленом поле, на виду у Москвы, перед входом в синие сырые леса, на солнце нежно зеленели составленные в кружок молодые березки, и в их тени на столе стояла чаша, лежало Евангелие и золотился крест. С крестом в руках ждали их епископы, архимандриты, весь московский причт.

Войска остановились.

Молебен не был долог.

Словно затушевывая кистью небесную лазурь, самоставленный митрополит Михаил-Митяй взмахнул кропилом, и хор запел многие лета воинству, коему осталось сей жизни немного дней.

И когда из рядов воинов вышел Сергей и пошел к князьям церкви, стихло все; все поклонились иноку, покрытому пылью дорог.

Сергий широко благословил народ:

– Да поможет вам Бог!..

И войско низко поклонилось ему в ответ на низкий его поклон. Простые слова, пыль на рясе, пыль на сединах, строгий, незлой взгляд уверили их паче молитв в счастливом конце похода.

Митяй надменно покосился на Сергия, который уже шел обратно с краю тронувшихся в дальнейший путь войск.

Дмитрий в кругу князей, бояр и воевод стоял, пропуская войска. Он крепко сидел на рослом белом коне; позолоченный панцирь сверкал, как пламя; позолоченный шлем высился над всеми. Надо б в великокняжеской шапке быть ему тут, но он провожал их не как князь, а как воин. Опытным глазом он всматривался в своих кметей. Он хотел разгадать, какими они будут там, куда еще не скоро дойдут.

Пропустив тысячу и тысячу человек, он попрощался с теми из воевод и бояр, которые уже сейчас трогались с войском. Сам же оставался отдать последние распоряжения по Москве, поручить надежному человеку семью и город и завтра тронуться вслед войскам.

Дмитрий повернул коня. Он ехал навстречу войскам, и воины, прерывая песню, оборачивались к нему.

## Глава 9. Лес

Сторонними лесными тропами Кирилл миновал Москву.

Хвойные дебри молчали. Многовековые ели охраняли тишину на десятки верст. Мгла стояла под их суровой сенью. Ни трава, ни кустарники не росли в глуши. Лишь у буреломов да по берегам глухих овражных ручьев зеленела трава, цвели цветы и водились птицы. Сюда в полдень попадал солнечный луч. Здесь Кирилл кормил коня и кое-как питался сам. Дорожный запас подходил к концу, надо было выбираться к людям, а все боязно было – далеко ли обойдена Москва, и на кого выйдешь: разные люди живут на земле. Говорят, в прежнее время народ был проще, душевней. Теперь – одичал. Татары ли ожесточили русскую душу, время ли суровое, невзгоды ли от бояр?

Остановившись на тесной поляне, густо поросшей самородой и малинником, Кирилл пустил на корм коня, а сам пошел по малину. Ягода была крупна и душиста, да редка. Он раздвигал колючие ломкие лозы, они слегка похрустывали под ногой.

Вдруг оттуда, куда он пробирался и где особенно густо сплелись кустарники, раздался шелест и хруст.

Какие-то два бурых зверя вырвались из чапыги в лесную мглу и кинулись прочь, перебегая за вековыми стволами.

«Медведи, что ль? – подумал Кирилл. – Больно уж укрادчиво уходят».

Кирилл не опасался их, если они его опасались. Не дав медведям отойти, он кинулся бежать за ними и различил: то были люди, и он настиг одного.

Догнав, он толкнул убежавшего в спину так, что тот, взмахнув руками, споткнулся и упал на колени. Кирилл оседлал его, стиснул ладонями уши, подмял и покосился: далеко ль ушел другой. А другой стоял невдалеке и ворчал, покачиваясь из стороны в сторону.

Диковинно сие показалось расстриге – другой-то и вправду был медведь! Сидя на чловеке, Кирилл смотрел на видение: медведь стоял, удивленно урча, распустив сопли. И только разглядев, что из ноздрей медведя свисает кольцо, Кирилл перевернул обомлелого супротивника и глянул ему в лицо.

То был молодой мужик, чуть рыжеватый. Бледный и напуганный, смотрел он смешно и жалко.

– Что ты тут деешь в лесу? А?

Мужик не откликался, помаргивая глазами.

– Язык, что ль, присох?

Мужик облизнул обмершие губы.

– Ну-ка, откликнись, а не то покончу.

Слезы по-бабьи набежали на глаза.

– Не надть, батя! Не надть, не кончай.

– Откуда идешь-то?

– С Москвы.

– А далеко ль?

– К Оке.

– А дела какие?

– Медведя кажу. Он пляшет.

– А чего лесом пошел?

– На дорогах прохожих бьют. Тут тише.

– Ан и тут попался!

– Ой, батя! Не надть, батя! Ой, батюшки!

– А чего на Оку пошел?

- Моя там жизнь. Ой, под Коломною.
- С деньгой, значит, с Москвы домой идешь?
- Ой, не надть, отпусти, батя! Дома-то семья без хлеба, без крова...
- Ан и сам не знаю: пустить аль нет?
- Ой, пусти, кровный!
- Ан право не знаю.
- Ой, кровный!
- А денег-то много?
- Ой, нет.
- А долго ль на Москве-то был?
- Да третий месяц.
- Ну, понимай, деньги есть. Где кошель-то?
- Ой, пусти только.
- А что ж ты безоружный в лесу-то идешь?
- А с медведем иду, так не боязно.
- Вон он стоит, не помогает.

Мужик повернул из-под Кирилла голову и посмотрел на медведя. Тот стоял на задних лапах, поплясывал, но подходить ближе опасался.

- У, окаянный!

Кирилл привстал над мужиком:

- Ну-ка, подымись!

Мужик посмотрел на Кирилла с удивлением:

- Ты чего?
- Раздумал тебя душить. Живого с собой поведу.
- Ой, не на Москву ли?
- А чего ты спужался?
- Лучше уж тут кончай.
- Вона что! Чего ж там наделал?
- Да так...

Кирилл снова слегка нажал.

- Ой, батя! Ой, пусти, скажу.

- Ну?

– Как на рядах-то вечером отплясали, пошли с Топтыгой домой, в преулочке одно дело сдеял.

- Так, так. Каково ж дело?
- Да так... Мелкое...
- Ну?
- Ой, скажу, скажу. Купца приткнул. Выручку взял.
- Много?
- Да так...
- А?
- Всю выручку.
- Поделишься?
- Пусти! Поделюсь.
- Ну, смотри: слово – олово.

Кирилл привстал. Мужик вылез из-под него, разогнулся и помыкнулся было бежать, но рука Кирилла перехватила его. Кирилл стоял, а мужик опять лежал на земле.

- Вона ты какой! А я уж было поверил, хотел тебя в артель к себе взять.
- Неужли взял бы?

– Совсем было хотел, да вижу – лжив человек.

– Возьми, не покаешься.

– Ну-ка, встань!

Мужик поднялся и, все еще робея, заговорил:

– В малиннике у меня... сума-то... Пойдем, что ль! Бери пополам.

– А не много ль тебе останется?

– Нет, давай пополам.

– Ну-ка, давай сперва глянем.

Они пошли к малиннику. Там в примятом логове лежали сума, железный костыль. Нашлась еда. Пересчитали богатство, выходило неплохо, хорошо торговал купец в свой последний день.

– Как же ты утек-то?

– А кто поводыря удерживать станет? Вора имают, а мы и в княжеский терем идем – песни поем.

– Ты что ж, первый раз домекнул?

– Первой. Раньше по малости баловал, ежели заглядится кто.

– И сходило?

– Раз заметили, да на медведя свалил, он, мол, озорник, а я – скромник.

– Веселый ты, я вижу, человек.

– Да малость запечаловался, как ты насел.

– Опять смекаешь уйти?

Мужик задумался. Потом улыбнулся:

– Я тебе истинно, как отцу, скажу: шел и думал – дружка б мне, с кем бы по душам век жить.

– Что ж, посмотрим, каким-то сам ты дружком станешь.

– Не прогневаю.

Так они дальше шли вместе.

Конь сперва опасался зверя. Косил глазом, пофыркивал, прядал ушами. Потом обнюхался, стал терпеть. Медведь был смирен; видно, не мучили, не дразнили сызмалу, теперь ластился к человеку, норовил пригнуться около.

На стоянке, когда сели поснедать, медведь, соскучившись, толкнул носом вожака под локоть. Вожак даже выронил ломоть хлеба.

– Что ты, нечистый дух?

Но медведь снова толкнул носом под локоть.

– Не балуй! Поиграть просится, – объяснил он Кириллу.

– А как звать-то тебя?

– Тимошей.

– Ну-ка, Тимоша, поиграй.

– Да я могу, только не смейся.

– А чего ж тогда играть, ежели грех посмеяться?

– Ну, так воля твоя.

Тимоша достал переладец, и нежная, ласковая долгая песенка потекла, словно где-то вдали выговаривали слова, словно пел чей-то нежный далекий голос.

Хорошо звучало в глухом, непроницаемом лесу. Конь пасся невдалеке, медведь поплясывал, то оттягивая зад, то размахивая в стороны лапами.

– Хорошо обучен! – похвалил Кирилл.

Зверь, будто утомясь, подошел к хозяину и лег у ног. Тимоша уткнул в него ноги, перестал играть и обернулся к Кириллу:

– А теперь, может, побывальщину послушать желаешь?

- Давай, давай!
- Я тебе новую.
- Ну-ну!
- Сам в Москве перенял.
- Слухаю.

Тимоша начал древний запев о князе Владимире, пир описал и спор гостей, похвальбу богатырскую. Все давно было знакомо Кириллу, и каждый раз простором чистых полей, далью неведомых дорог, задумчивым раздольем мечтаний овевала Кирилла старая песня.

Но вдруг зазвучали гневом и жалобой свежие слова, ворвавшиеся в древнее описание пира:

Распалился, обозлился тут Калин-царь,  
Разорить хочет, собака, стольный Киев-град,  
Чернедь-мужичков он всех повырубить,  
Терема-хоромы он на дым пустить,  
Князю-то Владимиру голову срубить,  
Русую Опраксию с собой уложить...

Тимоша остановился и сказал Кириллу:

- Русскую землю, вишь, к своей земле приложить задумал!
- Пой еще, смекаю.

Посылает Калин-царь гонца во Киев-град:

– Ты поди-то во палату белокаменную,  
Пред собой ты дверь пятой распахивай,  
С головы шелома ты не сбрасывай,  
Становись ты супротив князя Владимира,  
Полагай молча ты грамоту на княжий стол.

И Тимоша опять объяснил Кириллу:

– Не велит даже гонцу перед русским князем кланяться. Высоко занесся, басурман поганый!

– А послушай-ка, – перебил его Кирилл. – Ты в Москве о татарах ничего не слышал?

– Кто же не слышал? Идут на Москву. Если б не сутолока, я, может, и купца-то не согнул бы.

– А что там?

– Идут татары. Тьма! Дмитрий Иванович народ собирает, полки снаряжает. Я уж который день оттуда... Теперь небось вышли.

– А в какую сторону?

– Видать, рядом с нами к Оке идут. Я потому и обочную дорогу выбрал.

– Ну, не только потому!

– Да, может, и правда, не только.

– А войско-то велико ли?

– Да не шибко, видать, велико, а только оружия много. И, видать, оружие новое, немецкое али свейское, – у нас не бывало такого.

– Чего ж с собой не захватил?

Тимоша засмеялся:

– Да я уж прилаживался: мне б, господин Дмитрий Иванович, медведя б собрать, он татар бить у меня приучен. А Дмитрий Иванович смеется: «Тех татаровей по лесам наши медведи голыми руками скоро грабастать станут!»

– Ты чего ж, самого давно видал?

– Да не так давно. На его дворе играл в четверг поутру. Княгиня его на крыльцо вышла: «Нам, говорит, Тимоша, не до игры сейчас. Время стало Богу молиться». А князь сам во дворе стоял, глядел, как из погребов оружие на воза грузили. Видно, в оружейной не уместилось али в тайне те склады держал до времени. Приветливой князь.

– Тебе виднее.

– А ты иначе разумеешь?

Кирилл смолчал.

Конь, похрапывая, перебирал траву. Зверь мирно дремал у Тимошиных ног. Вечерело. Предстояла последняя ночь в лесу: поутру решили выбираться на дорогу.

– Ну, ты, может, дальше попоешь эту песню, а?

– Да чего ж не спеть? Песня ко времени.

Он спел о том, как требовал Калин от Владимира угощения для татарских войск:

Ты наставь хмельных медов по улочкам,  
По всем по городским по переулочкам,  
Чтоб стояла по городу бочка о бочку,  
Бочка о бочку, да обруч к обручку.

Он спел о том, как быстро истекал срок, назначенный Калином Киевскому князю:

А ведь день за днем, как будто дождь дождит,  
А неделя за неделей, как река бежит.

Он спел еще и о том, как вместо ответа послал Владимир к Калину богатыря Илью Муромца. Как седлал коня Илья, как выехал и увидел войско татарское.

А как глянул на войска на татарские,  
Видит – станом стоит сила великая.  
От людского покрыку, от посвисту,  
От конского топоту, от ржания  
Унывает сердце крестьянское,  
Содрогается земля христианская.

Он долго пел, а Кирилл слушал: Илья собирал свою силу.

Лес молчал, только задумчивый голос сплетал слово со словом, и все гневней становился голос, и все отчетливее, строже бежала песня, будто слова шли, строй за строем, по лесным дорогам навстречу врагу.

Кирилл слушал, размышляя. И сейчас идут по дорогам силы русские навстречу царю Калину. Не Илья, а Дмитрий ведет их в страшную битву. Никогда еще не одолевали татар, а многожды бывали от них побиты. Тлеют русские кости в сырой земле. Сейчас снова идут воины и снова лягут. Может ли победить Дмитрий, коли никто еще не побеждал татар?

«Дмитрий, Дмитрий! Вельми ты жестокосерд. Ненавистен!»

Оставалась в Кирилле привычка всякое большое желание обращать в молитву. Чуть родилась мечта – тут же с просьбой к Богу. Но как помолиться теперь? Если придут победы над татарами, высоко возвеличится князь Дмитрий. Не будет ему никого равного. Будет на

устах его, на сытых щеках бродить довольная ухмылочка, будет от всех похвалы слушать. Нет, побить бы его, изничтожить, унижить! Чтоб бледен вернулся, чтоб стыдно стало перед народом себя казать!.. А что же тогда с народом станется? Под мечом и под пламенем Русь вновь наплачется, под басурманским гнетом навеки сникнет! И Москва, и Коломна, и Рязань в кой-то раз вновь в пепел лягут! А в Коломну он мечту о вольной жизни несет: пеплом и мечта по ветру рассыплется.

– Даруй, Господи, удачи брани сей. Ниспошли покров свой на воинство наше. Даруй победы...

Голос Тимоши, разрастаясь, охватывал весь примолкший вечереющий мир. Илья Муромец обрушился на басурманские войска:

Он копьем их колет, конем их жмет,  
Он бьет их силу, будто пожню жнет.

А когда притомился конь и притупилось оружие, бросил оружие Илья:

Видит, прет к нему дитя немалое,  
Ухватил он за ноги того татарина,  
Тако стал татарин помахивать,  
Стал он бить татар татарин.  
Так прошел сквозь всю Орду поганую,  
Сквозь Орду к собаке царю Калину,  
Бросил тут татарина он в сторону,  
Взял за белы руки царя Калина:  
– Будешь ты платить отныне веки по веку,  
Будешь ты платить нам дань, поганый царь,  
Посылать дани ко городу ко Киеву...

– Не слышал еще этой песни. А хорошо! – сказал Кирилл.

– Не слыхивал и я допрежь сего. Да надо б петь ее не князю Владимиру и не о Киевграде, а нашему Дмитрию на Москву. Злее б она выходила!

– Нет, правильно сложена. Всякой и так поймет, что Владимир – наш, а Калин – вражеской.

– Ой, чего-то ты недоговариваешь! Видно, не в любви ты с Дмитрием свиделся.

– Нет, не в любви... о том после думать станем. А сейчас – татары идут на Русь. Понял?

Утром они растолкали мокрого от росы Топтыгу. Кирилл распутал коня. Пошли еще в тумане, приглядываясь к подножию елей, где было ясней.

Днем вышли на дорогу, но хоть и была она безлюдна, а страшна. Они снова подались в лес, держась в виду дороги.

К концу дня показалась Ока. Было пасмурно. Шел мелкий дождь. С веток скатывались крупные капли. Лес становился мельче. Пошла чернь – дубы, осинник. Подосиновики краснели на плотных белых ножках, и Топтыга, чавкая, набивал ими рот.

– Животом занеможешь, балда! – увещевал Тимоша медведя.

В город решили идти порознь.

Тимоша с Топтыгой ушли, а Кирилл задержался.

Он вел лошадь в поводу по лесу, пока сквозь стволы показались пропашные поля, за ними город.

Под дождем стоял он маленький, темный, смурый. Повыше соломенных и дощатых посадских крыш высились бревенчатые стены Кремля и коренастые, как совы, стрельницы.

Позолоченный крест поднимался над церковью Воскресенья. Здесь Дмитрий венчался с княжной Евдокией Суздальской. Помнил эту церковь Кирилл; давно это было. Сколько горестей перенес с тех пор, как вышел с ее паперти. А вон в стороне, в дубах, и Голутвин монастырь, откуда и повели его в невольную жизнь. Там, у слияния Москвы с Окой, может, и сейчас живет Анята...

«Не чаёт небось, как близко стою. Не забыла о том, как умоляла стражей отпустить меня, грех на себя одну брала. “Знала б, не жалобилась бы”... Горько убивалась... Да и любила она стыдливо, жалостливо. Разве блудни такие? Лгут злые люди на нее. Велика горесть вдовьей жизни».

Может, не сюда бы бежал через леса и топи, если б не сохранил через нее в своем сердце тепла к Оке и к Коломне, и к этим глухим ивнякам, где с ней слюбился.

Еще стоя в кустах, Кирилл облюбовал приметное дерево и пошел к нему. У корней пышно рос мох.

Кирилл кинжалом вспорол его и приподнял большой пласт. Под мхом оказались залежи орехов. С удивлением он взял один, отер пальцами и разгрыз. Ядро было свежее.

– Ишь ты! Белка тут склад устроила. Ну и я тоже устрою.

Он разрыл кинжалом землю, снял с себя лишнее оружие, шелом, завернул в узел и уложил в расщелине корней. Сверху прикрыл мхом, присмотрелся:

– Мох как мох. Так, маленькая кочка. Никому невдомек.

Посмотрел на перстень и решил было снять, но снова разрывать кучу не хотелось.

Теперь он одет был легко, просто. Из оружия остался лишь кинжал за поясом да нож за голенищем. Таким может быть и доверенный купеческий приказчик да, пожалуй, и сам купец. Только шапка была нехороша. В этой шапке с Алисом работал, измазана, постерта вся.

Уже совсем стало смеркаться, а дождь не переставал. Кирилл заторопился.

В городе лаяли собаки. Пахло с огородов и дворов свежим навозом, ботвой. Сырые пятна чернели на бревнах строений.

По свету в окне Кирилл опознал постоянный двор. Тут, в слободе, не въезжая в городские ворота, он и остался ночевать.

В большой избе было темно и тихо. Лучина тускло горела в стороне от стола, и пламя стояло, как увядающий цветок, подсохший сверху, – пламя всегда напоминало Кириллу какой-то цветок, растущий на берегу Босфора.

Люди, молча сидевшие у стен по скамье, показались ему знакомыми: может, среди них есть те, которые два года назад видели его позорный исход из Коломны? Все смотрели на него, но никто не шевельнулся. Кирилл перекрестился в угол и сел.

Он скоро догадался, почему все молчали: здесь слушали побывальщину; старик-сказитель на чурбаке возле печи отпивал квас из большой уполовни. Кирилл вошел в перерыве между событиями: Илья, оседлав коня, выехал в чистое поле навстречу врагу. Это была та же песнь об Илье и Калине, которую Кирилл впервые слышал от Тимоши.

Старик поставил уполовник на кадку и обернулся к Кириллу:

– Да, так, значит, об Илье и Алине песня складена. Послухай, гостюшко.

«За купца меня принял», – подумал Кирилл. И пока старик отирал ладонью волосы вокруг рта, готовясь продолжать, Кирилл толкнул мальчишку, сидевшего у его скамьи на полу:

– Подь, отроче, поглядь коня.

Мальчишка поспешно ушел, а Кирилл подумал: «Пусть и впредь за купца чтят».

Он оглянулся – кто тут хозяин? Надо бы еды спросить. Старик же сказал ему:

– Потерпи малость. Вместе и поснедаем. А пока послухай.

– Пой, пой, отче. Я повременю.

Старик-то и оказался хозяином.



Он допел неторопливо и складно. Он пел короче, выпустил троекратный наезд Ильи, и песня вышла крепче, как удар меча.

– А я слышал: не с Алином, а с Калином Илья бился.

– Это кто как называет, все одно – татарин. Да давно ль слышал?

– Да вчера.

– То-то! А то уж я помыслил, не прежде ли когда. Нет той песни, какой я бы не слыхивал.

– Спевашь?

– Надо ж дорожного человека приветить. На то и живу.

– Ну, привет, коли снедь сыщется.

– Повремени маленько. Сейчас хозяйка корову выдоит.

Заезжие оживились.

– Хороша песня, – сказал один.

– А не бывать тому, чтоб татар побили! Сразу не сломили, теперича сил не собрать, – усомнился белоглазый рыжий парень.

– Аль слеп? Войско-то видал?

– Войско не малое. Вот богатый гость насшибает рубликов.

– А чем? – спросил Кирилл.

– Сшибешь, говорю, рубликов. На то небось и за войском гонишься.

– А ты меня почему за гостя чтишь?

– Да по сану, да и по жуковинью видать. Что ж, мы людей, что ль, не видывали? Да только скажу, не первой ты тут идешь, вашего звания там – как в Москве на торгу.

– Много?

– А купец только и ждет, где б кровью запахло, – там рубли шальные, все одно помирать.

Кирилл пригляделся к мужикам повнимательнее, – им-то куда в такое время спешить? Один особенно вороват показался – в глаза не смотрит, сидит, как сова, в темный уголок схоронился от света. А острая бороденка никак укрыть плутовского рта не может.

Заметив на себе взгляд Кирилла, он принялся зевать и крестить зевоту.

«Наводит тень на плетень», – подумал Кирилл.

– Далеко ли ваш-то путь, братцы?

– К Звенигороду на ярмонь.

– Далеко направились.

– Пироги печь, – сказал другой, – наше дело такое.

– Пироги-то с требухой, что ли? – спросил Кирилл, прямо оборотясь к остробородому отщепенцу.

Но тот благодушно вытер ладонью лицо и только потом не спеша ответил, будто Кириллов соучастник:

– Кто ж их знает? Может, с капустой. Темный народ.

«Ловко отрекся», – подумал Кирилл.

– А сам-то печку под пироги, что ль, раздувать будешь? – спросил он.

– Я сам по себе.

– А и так расчет есть, – согласился Кирилл. – Коли тебе начинка останется.

Рыжий парень скосил недобрый глаз на отщепенца:

– Он, видать, пирогом пирог начинить мечтает, да хиловат.

Кирилл не сомневался больше: войска прошли, за войсками прошли купцы, а следом за купцами эти бредут – с купцов шкуру сдирать. Бредут, да опасаются друг друга – нет ли кого, кто и у них пирог отнимет.

Рука Кирилла ощупала пояс: тут ли кинжал?

Вошла хозяйка. Запахло парным молоком и навозом. Поставила бадью на скамью и загремела заслонкой.

Постояльцы похлебали хозяйского варева – постную похлебку, где разварной горох да грибки хорошо были сдобрены луком.

– А медов не варишь? – спросили у хозяина.

– Сам не варю и другим не велю. Стоять у меня стой, песню пой, щи хлебай, а о меде не бай.

– Стол без медов, как песня без слов.

– Это как на чей разум! – сурово ответил старик.

– Что ж, худоумными нас почел? – грозно спросил остробородый.

– Не замай, Щап! – тихо проговорил Кириллов сосед остробородому.

– А ну их! Лезут. Преподобные свечкодуи!

– Щап! – еще тише и настойчивее попрекнул сосед.

Остробородый опять углубился в темень угла.

Темень стояла и на дворе. Дверь не была закрыта, в жилье веяло прохладой и сыростью. Дождь не утихал, и слышно было, как он стучит по дощатому полу крыльца.

Кирилл понял, что семеро заезжих мужиков – не из одной ватаги. Тут было их две или три.

«Щап-то остер не только бородкой. Не зря его-то опасаются! – подумал Кирилл. – Надо и мне эту ночь попастись: теперь не в лесу, чать!»

– А ну, хозяин! – сказал Кирилл. – Как бы прилечь где?

– Положу, положу, гостюшко.

– Мне б где поспокойнее.

Старик покосился на мужиков. Все они сторожко прислушивались к их разговору.

– Не бойсь. Выпишись!

Кто его знает, может, и хозяин свою ватагу держит. Лечь-то легко, да каково вставать будет? Нынче на благодать не надейся. Шалыги по дорогам в рясах ходить стали; ряса потолще панциря!

«Да я и сам вроде того!» – усмехнулся про себя Кирилл. И пошел за хозяином.

Старик его вывел в клеть. Клеть стояла тут же за двором. Толстая дверь снизу была науголок прорублена, чтоб кошка могла пролезть. Душно пахло слежалым зерном и мышами. Слева от двери, поверх закрома, положена была медвежья шкура по доскам; хозяин приволок на нее тулуп.

– Ночи холодны становятся. У меня тут изнутри засов. Не сумлевайся, гостюшко.

– Спаси Христос! Доглядь коня.

– Гляну, гляну.

В темноте Кирилл забрался на ложе и стал слушать. Хозяину не верь, ему и стена – дверь. Он опять пощупал кинжал: «Эх, в лес бы да за ночь выпасться!»

Когда хозяин вернулся в избу, Щапа и другого уже не было. На столе лежали полушки за пристанище.

– Куды ж в эту темень их понесло? – удивился хозяин.

– Бог с ними! – довольно ответил рыжий.

– Ну, их дело, – согласился хозяин.

Хозяин пошел к печи.

– А купца я на зады в сарай отвел. Пущай на сене отсыпается.

Рыжий хитро подмигнул:

– Тебе виднее!

Успокоившись, старик спросил:

– Вы-то на полатах, что ль, ляжете?

– Да не. Нам скоро пора.

– Ну как знаете! – И полез на печь.

Едва стало рассветать, – а утро запаздывало из-за обложных туч, – Кирилл услышал приятные шаги. Несколько человек прошли мимо клетки к сараю.

Кирилл тихо сполз с закровов, принатужился, чтоб не скрипнуть, отодвинул засов и вышел наружу.

Он воровато обошел сырые бревна стен, держась ближе к ним, слегка шурша мокрой крапивой, и зашел к воротам двора. Попробовал затвор, но ворота были заперты. Хотел подлезть снизу, но, видно, навоз со двора давно не свозили: в подворотню не протиснешься.

«Не может быть, чтоб на двор лаза не было».

И правда, – одна из досок шаталась. Кирилл оттянул ее и пробрался во двор. Его конь стоял поодаль, сонно шелестя сеном.

Кирилл погладил его и заглянул в кормушку – сена задали много и овса засыпали. Он отошел в сторону и залег в сене. Когда зарывался в него, хозяин вышел во двор из избы и крикнул:

– Н-но! Не балуй!

«Сторожко спит!» – подумал Кирилл о старике.

Едва хозяин ушел в избу, чья-то рука тронула ворота снаружи. Тихо отодвинулась доска лаза. Кто-то постоял, свыкаясь с мраком двора. Вверху, под крышей двора, завозились голуби. Кирилл скосил в ту сторону глаз и увидел острую, как лезвие, щель в крыше, – рассветало.

Человек от ворот прошел к Кириллову коню и потрепал по шее, успокаивая. Потом схватил цепь и принялся отмыкать правой рукой, а левой почесывал коню шею.

Кирилл мгновенно приподнялся. Человек, застыв, остановился. Это был Щап.

– Ну-ка, не замай!

– Что ты! Что ты! Я – так.

Но Кирилл подступил ближе. Между Щапом и воротами стоял конь. Щап вдруг пригнулся, нырнул под брюхо коня и кинулся к воротам.

«Ишь! – удивился Кирилл. – Истинно, как я, от смерти из-под конского брюха вынырнул!» – И усмехнулся, вспомнив пережитый день: два звания за день испробовал!

Как поступать дальше? Воином ходить несподручно, всякий подумает: почему, мол, от воинства отбился? Купцом – тяжело, спать мешают. И так и этак мяса на костях не нарастишь. Надо в рясу, что ли, опять? Самое мирное дело по нашим временам!

Но тут же вспомнил, что невдалеке под мхом запрятан хороший запас. Можно, значит, не спешить, оглядеться, а там видно будет.

Он снова закрепил цепь, вышел через лаз на утреннюю светлую улицу и пошел в клеть.

## Глава 10. Сергей

Осенняя тихая длинная ночь прошла. В лесу едва занимался мокрый рассвет. Сергей проснулся и приподнялся, прислонившись к стене. В соседней келье глухо разговаривали. Ему показалось, что оттуда доходит женский голос:

– Пора, пора. Светает.

Осторожно он спустил ноги на мягкий беленький половик. Вышел в сени, постоял возле двери, за которой жил инок Александр. Сергию послышался голос Александра, но глухо, невнятно; женский ответил тихо, но отчетливо, с позевотой:

– Пора идти.

– Рано.

– Может, кто встретится. Нехорошо. А ты спал бы.

– Пора и мне.

– А я лежала, смотрела на тя, думала. Давно мы с тобой, а все не пойму.

– Ты все о том?

– Сам помысли: тверд ты, когда других ведешь к Богу, а сам... со мной.

Сергий удивился: столько лет Александр служит ему келейником, а ни разу не приходило на разум усомниться в Александровом целомудрии.

Александр за стеной говорил:

– Вера нужна. Вера нас собрала воедино. Вера горами движет. И, если б надо стало, чтоб ее удержать, я бы тя покинул!

– Покинул бы?

– Нонче Русь крепка верой. Вера как обод, как обруч.

– А сам обручен мне. Ты ж чернец. И греха не боишься?

Александр уже стоял у дверей, и она подошла к двери.

Сергий не отходил, слушая.

– Не боишься?

– Боюсь, что увидят, как ты пойдешь. Это грех будет, ибо сие есть соблазн.

– А греха? Не боишься?

– Есть такой зверь – лев. Слыхивала о нем?

– Который в пустыне и мучеников святых терзал?

– Он самый. Страсть – и есть лев. Каждому Богом он дан. И каждому чернецу тоже. Всяк бо есть человек. Дан и мне. Некоторые, в единой келье с тем львом живя, морят его постом, молитвой; еженощно секут и угнетают. И до времени зверь истомлен и пуглив. Но улучит миг слабости в хозяине своем, яростно на хозяина кидается, и тогда нет спасения, ибо келья тесна, а выход узок. Я же своего льва не томлю, а питаю, и он ласков, как кот, он меня не сожрет, и я в келье моей покоен и без опасения предаюсь делам веры.

– Притча!

– В ней истина. Ну, иди. Уже рассвело.

Сергий торопливо, прежде чем откроется Александрова дверь, вышел из сеней во двор. Рассвет нежной росой ложился на кустарник. За деревьями, в Симоновой обители, ударили в колокол. От Кремля, издалека, тоже был слышен звон. Войска ушли из Москвы. Завтра вслед им уедет Дмитрий.

Сергий уходил, чуть сутулясь, спокойным, неспешным шагом, твердо переставляя посох. Он шел не к Симонову, где останавливался, приезжая в Москву, а прямо к Кремлю.

«Александр, Александр! Не чаял я, как близок, как упорен соблазн!»

Жизнь доверял Александру, брал с собой во многие странствия и пути!

Сергий шел, спокойно глядя встречным в лицо. И встречные не выдерживали его прямого, непреклонного взгляда. Те, которые узнавали, останавливались, кланяясь. Некоторые опускались на колени.

Шел и думал: крепок ли обруч веры вокруг подмосковных княжеств? Нет ли трещин? Близится день битвы. Замирает сердце. Все ли готово? Дмитрий уговаривал принять митрополичий сан. Стать над всею православной Русью. Нет, в этой бедной одежде, в дорожной пыли, в славе подвижника и мудреца он сильнее всех князей и самого митрополита. Дмитрий не понимает, что эта сила крепче кует обруч.

«Александр! Александр! Был воином, а ныне клонится к схиме; дам ему схиму и меч. Схиму и меч! Пусть не искусом, а подвигом утвердит свой путь к вере!»

Великокняжеский терем, позолоченный утренним светом, расписанный усердной кистью, высился на зеленом холме. Воины сложили на груди руки, и Сергий, переступая порог, благословил их.

У Дмитрия сидели ближние бояре, и они встали, когда Сергий вошел. Встал и Дмитрий и подошел под благословение Сергия.

Сергий сел с краю, слушал, как говорил Тютчев. Слушая боярина, Сергий разглядывал строгую, складную, опрятную его одежду.

– С западных стран есть двое ученых и мудрых человек – лях Горислав Бронеvский и свей Рувальд. Эти обучать могут хорошо, твердо.

– А еще кто? – спросил Дмитрий.

– Про что он? – спросил Сергий у Боброка.

– Учителя Василию Дмитриевичу нарекают. Княжич в разум вошел, пора.

Словно и мысли не могло быть о том, что татары дорвутся сюда!

– А еще, – сказал Тютчев, – есть по древлему обычаю грецкие учителя. Паисий – вельми книжен, с Афона. Ныне в Горицком монастыре на послухе у старца Льва. Тож из Цареграда, от патриарха, есть грек Василий, твоему сыну тезка, «Александрию» перевел, ныне житие митрополита Алексея пишет...

– Сына взрастит в страхе перед патриархом. Грецкому языку научится, а по-русски мыслить сможет ли?

Боброк вдруг уловил мысль Дмитрия и посмотрел на Сергия, но и Сергий понял и улыбнулся Боброку.

– Ну а свей Рувальд в сенях дожидается. Он нам оружейные дела в Свейской стране устрояет.

– Покличь свей. Взгляну.

Невысокий коренастый швед, уже седой, глядя серыми глазами из-под строгих бровей, гордо вошел на зов великого князя.

Дмитрий, сидя по-хозяйски, чуть боком, на своей скамье, не ответил на поклон шведа, только улыбнулся и спросил:

– Благополучно ли доехал, не обижен ли кем?

– Благодарю, великий государь, благополучно. Под Рузой в реке Москве одна ладья с оружием затонула, но груз смогли достать, наша сталь воды не боится.

– Добрая сталь?

– Отменная.

– А другой мы б и не взяли. В прошлом годе повез три ладьи кольчуг назад. Так бы и на сей раз было.

– Очень тогда огорчил. Но я в Новгороде их сбыл: ливонские рыцари перекупили.

– По Сеньке и шапка.

Дмитриево напоминанье явно рассердило шведа, хотя улыбка и не сползала с его голых щек.

– Мы куем доброе оружие. У вас не умеют так.

– Научатся.

– А пока не умеют. Да и что здесь умеют?

– Ого! – Дмитрий насторожился.

– Какие ремесла знают? Народ сер, а наших мастеров смеют хулить...

Дмитрий встал и побагровел. Бояре заворочались на своих местах.

– Хулим! А вот помогло, привезли хороших мечей, добрых булатных кольчуг. Сами поняли, надо ковать хорошо. А за нашу серость поклонитесь нам в ноги, – ежели б мы не стояли впереди вас, оборотясь на восход, не было б ни вас, ни ремесел ваших. Оттого-то вы и куете добрые мечи, что мы не влагаем их в ножны!

Швед побледнел. Дмитрий спокойно сел на свое место.

– Тебя в наставники прочили моему сыну.

– Готов приложить свое усердие!

– Не потребуется. Дед мой Калита отца моего князя Ивана книжной премудрости не обучал. И отец мой меня гречким наукам не учил тоже. И я своих сыновей не стану учить ни гречким мудрецам, ни угорским, ни болгарским книгам, ни ляцкому празднословью. Пусть русскую правду разумеют. Пусть к народу поближе стоят. Так-то! Не то станут по сторонам смотреть, а свое проглядят. Вон Рязанский Ольг вельми учен, всякие языки разумеет, а своего русского понять не может. Время-то каково? Надо поплотнее друг к другу русским людям стать. А минет суровое сие время, внуки научатся; разум при них останется, никто у них разума не отымет. А нам знать одно надо – науку воинскую. Разум изощирать в битвах.

Швед возразил:

– Однако князья и короли западные, и угорские, и шведские, и немецкие книгам вполне обучены и...

– А потому и обучены, что в наших руках – мечи, а не книги. И копыя наши к востоку повернуты! Ступай, свей. За оружие те заплатят. Ежели в этом году еще наберешь на караван, привози – купим. Ежели худое наберешь, назад повезешь. Иди!

Швед ушел.

Тютчев:

– Разреши, государь, сказать: к своим сынам я ляха Горислава приставил. Нонче выгоню.

– Прежде сам о том размысли. Великому князю надобен воинский ум. А Русь никогда книжной премудрости не гнушалась.

– То монастыри пусть мудрствуют. Нам не то надо. Ляха сгоню. Самому приторен, да худей других быть опасался: скажут, серы, мол, Тютчевы. Внуки, придет время, научатся, а сынам иное надо.

– Ты, мнится, сам-то из угорских бояр?

– Дед. А я – московский.

– Так ты ляха, ежели он негож, смени. А детей своих учи: это, что ж, смердами нам быть, что ль? Об том, что ты боярин, забывать не смей!

И отошел к Радонежскому.

– Что-то, отче Сергие, Тверской князь сызнова замышляет? Никак, ни мечом, ни огнем, ни словом не изгоню из него ропота.

– То сведаю. Его духовника покличу: наш, троицкий, при нем. Да и Федору-епископу внушу, чтоб разномыслию не потакал.

– Тож в Рязани; не чрезмерно ли рязанские бояре своего Ольга чтут? Надо б, чтоб о Боге побольше думали.

– Рязанцы, которые посильней, у рязанского епископа Василья на примете; ныне многие из них ручней стали. Я Василью Рязанскому вчерась нового келейника благословил. Нонче поутру, видно, поехал, а с ним – письмо.

– За молитвы твои, отче Сергие, низкий от меня поклон. Я скажу дьяку Нестеру, чтобы грамоту те сготовил. Когда уходить будешь, возьми: жалую твою Троицкую обитель ловчими промыслами, позволяю вам ловить на реке Воре выдру, бобра, иного всякого зверя. То за молитвы твои, доколе в походе буду.

– Вечные о тебе молитвенники, Дмитрий Иванович!

Подошел Боброк, Дмитрий спросил:

– Что ты, Дмитрий Михайлович, о татарах сведал? Сулился сказать.

– Не нонче сведал, давно. О строе их в битве сведущих людей расспрашивал, сам размышлял. Како идут в бой, чем побеждают.

Сергий вглядывался в них, знал: Дмитрий не любит книжников. Воин – он в битвах прям и не хитер и о Боге-то думает мало; хозяин – он жалеет время на книги и на молитвы и книголюбцев гнушается. А Боброк над книгами ночи просиживает, а то на звезды глядит да песни бормочет. Тем Боброк Дмитрию не люб. Но никого нет равного Боброку по воинскому разуму, и Дмитрию без него не управиться. И Боброк живет, будто и не знает, что злая змея порой заползает к Дмитрию. И та змея – зависть.

Вот и ныне: страшная битва надвигается, войско уже идет к ней; завтра и Дмитрий за войском тронется, а Боброк остается Москву стеречь.

Сергий знал: хочет Дмитрий всю славу себе взять! Всю без остатка! Чтоб Боброку ни капли ее не осталось. И теперь глядел на них: как мирно говорят они накануне разлуки, может быть, последний раз видятся!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.